

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Листопад. Даниил Александрович Гранин

ЛЕТНИЙ САД.

Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве Летнего сада.

Бен попал в зенитную часть, Вадим – в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестили в петличках новеньких гимнастеров. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим, лихо сдвинутая фуражка, «фуранька», как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой. Весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть печаль предстоящей нашей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними, гимнастерка – б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах стоптанные ботинки, обмотки, и в завершение синие диагональные галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную, потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел вытащить нас троих из тьмы забытого последнего нашего свидания на свет божий, и я увидел себя – в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее они возмущались: неужели меня, как называл Вадим, вольноопределяющегося, не могли обмундировать как следует! Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!». Грудью, выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки. Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, прежде всего – грудью!

Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли бронь и зачислили в ополчение.

То есть рядовым в пехоту, спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война – профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками фортуны. В университете на Вадима возлагал большие надежды сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость.

Я гордился их дружбой, тем, что допущен, на меня, рядового инженера, никто не возлагал, в их компании я всегда выглядел чушкой, они по сравнению со мной аристократы, во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку с водкой, отцовскую, пояснил он, времен первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку:

...от тайги до
британских морей
Красная Армия
всех
сильней!

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем. Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние – в злобу, и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все уже когда-то было – война, падение империи, чума, разруха.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», – закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.

РАЗВЕДЧИК

В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли к нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.

Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.

Пошли ночью. Идет по шоссе немецкая колонна. Чего они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянный был, подначил, и мы с ними зашагали в хвосте. Бескончин послал двоих предупредить, что так, мол, и так. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступить. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швыряем. Вперед и назад. И вбок. Немцы никак не разберутся. Паника началась. Побросали они свои пулеметы, рацию, и бежать. Мы всё в кучу, подожгли. Вернулись. Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он стал темнить, мол, сообщил комбату, «смотря по обстоятельствам, можешь, поддержи, не можешь, отходи». Чтобы его не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, все же они с одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя, говорит, давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет – поговорили. Устыдил ты его? А как же, морду набил, искровянил всего так, чтобы закаялся.

Жаль, что мы не видели.

При вас, говорит он, нельзя, все же командир он, не положено.

Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.

1941 год

В августе 1939 года Молотов говорил на сессии Верховного Совета: «Вчера еще мы были с Германией врагами, сегодня мы перестали быть врагами. Если у этих господ Англии и Франции опять такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами, без Советского Союза. Мы посмотрим, что это за вояки».

Вот с каким идейным обеспечением мы отправились на войну.

Перед этим с Риббентропом наши правители торжественно подписали договор о ненападении. На фотографии в «Правде» советские хитрецы вместе с ним весело улыбаются. Потом Молотов целовался с Риббентропом.

Молотов вещал, что Германия стремится к миру, а Англия и Франция за войну, это средневековье.

Заблуждался? Кое-как объяснимо. Мог так думать, да еще политика заставляла. Историки старались оправдать и его, и других.

Война закончилась. После нее Молотов прожил еще 41 год! Бог ты мой – целую жизнь! Было время объясниться с Историей, поправить себя, оставить какую-то ясность. Нет, не захотел. Все, что делал, правильно, честно, мудро, иначе было нельзя, никаких покаяний, фиг вам!

Немцы все кричали «ура!» Гитлеру, доносили гестаповцам, потом в ГДР стали доносить Штази на тех, кто смотрит западное TV. Теперь они требуют выяснить, кто из новых депутатов был связан с КГБ.

Немец, молодой, веселый, сказал мне: «Какая у вас плохая туалетная бумага, как вы живете, я взял кусок показать у нас в ФРГ, чем вы подтираетесь».

В ГДР было 85 000 штатных сотрудников Штази.

Как одинаково распались режимы в Болгарии, ГДР, Чехословакии, и как глупо вели себя при этом правители.

Карл Т. вступил в компартию, чтобы сделать карьеру, теперь вышел, чтобы опять продвинуться.

Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Как они согревали всех нас, и блокадников и солдат. Они звучали точно клятва государства.

Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было? Одно за другим приходят письма: «Я, инвалид I группы Красавина Тамара, наша мама всю жизнь трудилась дворником, вечерами в прачечной стирала людям... Мы считаемся блокадниками, и что? У нас есть бедные и богатые. Бедные живут на 2000 рублей, а богатые едут в Италию и Париж. И им все мало».

Ольга Федоровна верила, что слова ее, высеченные на камне одного из главных памятников Великой Отечественной, не устареют, они были как формула, как закон.

В блокаду мы на фронте стреляли ворон. Охотились за ними больше, чем за немцами. Ездили еще на «пяточок», охотиться, там можно было подхарчиться за счет убитых, которыми питались вороны.

Получил боец посылку, понес, заблудился, попал к немцам, не растерялся, сказал: ведите к офицеру – мой командир посылает вам на Новый год. Отпустили. Случилось это на Ленинградском фронте. Сценаристы попользовались для фильма – получилась выдумка.

Как же так случилось, что я стал седым?

А и сам не помню – был ли молодым.

Воевал ли я, может, то был другой, а может, меня убили, а остался кто-то другой?

9 мая 1945 года Эренбург ночью написал стихи «В мае 1945». Кончатся они так:

Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал – закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.
В те же дни Абакумов писал Сталину донос на Эренбурга.

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ

Записывая рассказы блокадников, мы чувствовали, что рассказчики многое не в состоянии воскресить и вспоминают не подлинное прошлое, а то, каким оно стало в настоящем. Это «нынешнее прошлое» состоит из увиденного в кино, ярких кадров кинохроники, книг, телевидения. Личное прошлое бледнеет, с годами идет присвоение «коллективного» – там обязательные покойники на саночках, очередь в булочную, «пошел первый трамвай». Нам с Адамовичем надо было как-то вернуть рассказчика к его собственной истории. Нелегко преодолеть эрозию памяти. Это было сложно, тем более что казенная история противостояла индивидуальной памяти. Казенная история говорила о героической эпопее, а личная память – о том, что уборная не работала, ходить «по-большому» надо было в передней, или на лестнице, или в кастрюлю, ее потом нечем мыть, воды нет...

Мы расспрашивали об этом, о том, что было с детьми, как раздобыли «буржуйку», сколько дней получали хлеб за умершего.

Как повторял мой друг римский сенатор Катон: «Карфаген должен быть разрушен, а Ленинград – восстановлен!»

«Я установил, что я бездарен, поэтому нет смысла оставаться порядочным. Талантливый человек, когда согрешит, его будут осуждать, вздыхать. Порядочность его украшает. Меня ничто не украсит, а расходы на порядочность большие, прославить она не может. Нет уж, тем более что подлости у меня получаются».

Я так и не мог понять, издевался Игорь Федорович над собой или хотел меня вызвать на откровенность. Мы выпили еще, и я стал его утешать, вспомнил, какой замечательный капустник он сочинил. Он прослезился, повеселел, похоже, что это ему и надо было.

В начале мая деревья покрылись зелеными мушками. Нет, не покрылись, а задымились, зеленый прозрачный дымок от первых листочков. Тень появилась – светлая, редкая, пахучая. Я в нее окунулся. Дул ветерок, но ни березки, ни липы на него не отзывались, нечем им было, они еще бесшумны. Солнце делает новорожденные листики прозрачно-зелеными, яркими, от этой детской чистоты природы меня охватывает восторг, на душе весело и молодо, как там, где тоже ликует зелень в солнце, хочется, да нет, ничего не хочется, а просто восторг. Стою и улыбаюсь. Иду и улыбаюсь.

Я хожу в эту рощу часто, знаю каждое дерево, молодняк не различаю, а вот с коренными знаком.

Желто-оранжевый цвет себя показал, ничуть он не хуже зеленого, с его разнообразием оттенков, этот даже ярче, от коричневого до багряного, от рыжего до карминового, апельсинового.

Никогда не было так, чтобы ничего не было, – это про лес. И про дерево, вот существо, почитаемое мною, оно восхищает своей самоотверженной прелестью. После смерти оно продолжает служить избой, мебелью, стропилами, по-новому красиво, надежно, оно всегда теплое.

Машина едет по лесному проселку, и между черными елями желтые облачка берез. День серый, от этого краски разгораются ярче, такой силы этот осенний цвет, что кажется, тень может от него появиться на земле.

Человек приговорен к смерти. За что приговорен – неизвестно. Когда исполнят приговор – неизвестно. Он убежден, что осудили его несправедливо. Кому пожаловаться, кому подать кассацию – неизвестно. Как только он решает плюнуть на все это и жить в свое удовольствие, за ним приходят и увозят, куда – неизвестно.

Теперь уже не разобрать, кто воевал в артиллерии, кто в редакции, кто в банно-прачечном отряде. Все ветераны, все с колодками орденов, все 9 Мая обнимаются и принимают цветы. А есть такие, что выхлопотали себе инвалидные книжки, доказали, что недавно приобретенная подагра или радикулит окопного происхождения.

БАРАХОЛКА

В июне 1946 года вышло постановление Совета Министров СССР о реставрационных мастерских для пушкинских дворцов. Ленинград еще не оправился от блокады. Стояли разбомбленные дома, не хватало электроэнергии, люди возвращались из эвакуации, а селиться было негде. В нашей коммунальной квартире, когда я вернулся из армии в конце 1944 года, жило двенадцать человек, а в 1946-м – уже восемнадцать. Приезжали и приезжали. Коммуналки были переполнены. Надо было восстанавливать жилье. Прежде всего жилье! А тут реставрация дворцов! Да что же это такое! Но если бы тогда не приступили бы к этому, если бы помедлили, то растащили бы обломки украшений, карнизов, капители – все, что валялось среди дворцовых развалин. Охраны не было. Копали, копошились и местные, и приезжие. Кто себе в дом, кто для поделок.

Постановление вышло кстати. Не знаю, кто автор, кто его протолкнул, то ли ленинградские власти, то ли Косыгин. Перед нами всегда безымянное

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru «правительство». Среди его пассивного равнодушия действуют какие-то люди, одни корысти ради, другие, те, кто страдал за пушкинские дворцы и неведомыми нам путями добирался на самый верх, просил, доказывал, убеждал, про них ничего не известно. А между тем сколько хитрости им приходилось применять. Они и унижались, и заискивали. Они-то и творят историю.

Теперь, когда рассуждаю об этом, вспомнилось мне одно предложение на барахолке – голова амура бронзовая, обломанная у шеи, так что еще часть крыла осталась у плеча. Прелестная головка. Барахолка помещалась на Обводном канале. Она заслуживала бы отдельного рассказа о 1944–1946 годах. Нигде, и до и после, ни на одном базаре не видал я такого выбора. Ни на блошином рынке Парижа, ни на знаменитых базарах Востока, ни в послевоенной Германии, где хватало всякой всячины. Всюду все же знали, что почем, знали цену своему товару. Здесь же, на Обводном, торговали солдаты, вдовы, демобилизованные офицеры. Тем, что нахватили в Европе, а хватали что ни попадя. Везли мешками, чемоданами из Венгрии, Чехии, Польши, конечно, из Германии. Везли и машинами, и товарными вагонами. Портьеры и ковры, посуду и мясорубки, картины, выданные из рам, зеркала. Обчищали дома, фермы, учреждения. Тащили пишущие машинки – ходил слух, что дома их легко переделать можно на русский и загнать. Письменные приборы, каменные чернильницы. Конечно, радиоприемники, люстры, комиссионки ломались от шуб, отрезков, обуви, шалей. Барахолка выигрывала тем, что деньги получить можно было сразу. Не надо паспорта, ни процентов продавцам.

Барахолка, было у нее еще название «толкучка», толкотня была ощутимая. Приволье карманникам. Тут же выпивали, spryskivaya поупку, да и продажу.

Бронзовый амур был хорош, но мне нужен был пиджак, что-то штатское, осточертела гимнастерка. А на пиджаки был спрос больше, чем на амуры. Кроме амура вспоминаю упущенный большой деревянный горельеф, великолепное произведение. Как теперь, мысленно восстановив, вижу старинную работу восемнадцатого, а то и семнадцатого века. Сцена из Священного Писания с Марией Магдалиной. Тяжелую эту панель держал подвыпивший мужик в шинели. Не держал, поставил в грязь, на землю, – охрипло-безнадежно зазывал покупателей. Увидел мой интерес, вцепился в меня, не отпускал, обещал донести до дому, сбавлял цену. Хороша была вещь, помню ее в подробностях, заостенелую от времен желтизну фигур и темную дубовую раму – так память бережно сохраняет упущенное. В другой раз я долго топтался, приходил, уходил, возвращался к малахитовому ларцу с шахматами, выточенными из кости. Фигуры ферзя, слонов, ладьи были в виде голов, украшенных коронами, шлемами. Прелесть состояла в своеобразии каждой физиономии, пешки были разные, каждое лицо было пешечно-солдатским, туповато-послушным, в каждом был Швейк. А офицерский состав отличался надменностью, живостью... Художнику не все удалось, ясен был замысел.

Так и не решился купить. Почему, не помню. Может, потому, что слишком шикарными были эти вещи для нашей комнатухи в страшной коммуналке, которая все уплотнялась и уплотнялась.

Они заночевали в большом дачном доме у друзей под Москвой. Никого в доме не было, она и муж. Он заснул, а она ходила по комнатам и думала, как могла бы сложиться ее жизнь с этим мужем в таком доме, а не в тесной их двухкомнатной квартире. Когда развешивали белье, надо, сгибаясь, пробираться в коридоре. Слышно, как она кряхтит в туалете. Никогда она не может уединиться. Если б у нее была бы своя комната, а у него своя. Она выходила бы одетой, нарядной. Она физически страдала от того, что должна при нем переодеваться, он всегда слышит ее разговоры с подругами.

Она мечтала, чтобы они спали в разных комнатах, наутро она бы одевалась одна, не спеша, появлялась бы умытая, пахнущая духами, чтобы что-то прежнее, молодое вернулось к ним. Она поймала себя на том, что раздражается на него, он был ни при чем, наверное, и ему доставалось...

Она ходила по комнатам этого дома, примеривая их к своей жизни, иногда вот так же она заходила в магазин померить модное пальто, повертеться перед зеркалом, увидеть там такую, какой она хотела быть.

ВОЙНА

Отец Олега Басилашвили рассказывал сыну:

– Как шли в атаку? Очень просто, кричали: «Мама!», еще было «За Родину! За Сталина!». Но больше было другое: дадут стакан водки на пустой желудок – и вперед. Кричали от страха, от безнадежности, потому что за спиной «ограды», те, в хороших полушубках, в валенках, вот мы и кричали: «Мама!».

– А немцы?

– А немцы навстречу нам, они кричат: «Mutter!». Так вот и сходились.

– А что за трофеи были, что брали себе?

– Часы ручные брали. А один татарин сообразил полный чемодан патефонных иголок. У нас они были в дефиците.

Отец его был начальником полевой почты всю войну. В Будапеште шел он по улице, ударил снаряд, стена дома обвалилась, и открылась внутренность – комнаты, картины, буфет, сервизы. Он забрался внутрь посмотреть. Увидел альбом с марками. Надпись владельца на идиш. Зачеркнуто. Поверх надпись нового владельца – эсэсовца. Взял себе. Почтарь! Зачеркнул немца, надписал себя по-русски.

И повсюду страшные, вздутые трупы. Это раненые расползались во все стороны. Умирали почему-то уткнув лицо в землю, скрюченные последними муками.

Передо мной предстала картина отступления наших. Немцы своих подобрали, похоронили. Наши уходили в небытие безвестными, безвестные навсегда.

От сладкой вони гниющей человечины тошнило, находиться далее не было сил. Жирные блестящие мухи гудели над трупами, кружили птицы. Здесь, на перекрестке дорог, немцы на броневиках настигли отступающую нашу часть, судя по всему, наши стояли насмерть. Были израсходованы все гранаты, диски автоматов, ручных пулеметов были пусты, так что и поживиться было нечем.

– Господи, во что мы превратимся? – сказал Мерзон.

Вот что такое отступление.

Я не мог больше там быть, я бежал, зажимая нос, мы все бежали, и думать нельзя было, чтобы их похоронить, хотя бы землей присыпать, хотя бы документы достать, медальон вынуть.

Медальон, еще он назывался «смертник», это был черной пластмассы патрончик, куда вставлялась бумажка, свернутая трубочкой, с фамилией, именем, отчеством. Несколько сведений, кажется, группа крови. Не помню, был ли домашний адрес. В моем медальоне через год все стерлось, когда мы переплывали Лугу, ползали по болоту, наверное, сырость проникла. Два раза я менял бумажки. У немцев были металлические жетоны, чего-то на них было выбито, цифры, буквы. С них не сотрется. Патрончики наши в танках сгорали вместе с экипажами, ничего не оставалось. Бывало, успеют выскочить, гимнастерку сбросить, но медальон этот говенный тью-тью.

Тыл

Директора военного времени были хороши, делали невозможное – Зальцман, Новиков, Завинягин...

В июле 1941-го Сталин собрал совещание по выпуску винтовок. Оказалось, нет винтовок, не с чем воевать мобилизованным.

У Устинова спросили, может ли Ижевский завод увеличить выпуск винтовок с 2000 штук до 5000.

И потом он мне помогал. (2000 довели до 5000, потом до 12 000 в сутки!)

Звонил Сталин, передал трубку Берии, тот говорит: «я сказал т. Сталину, что если Новиков говорит, что сделает, то сделает. Таким образом он как бы поручился за меня. Я решил это использовать. Звоню из Ижевска – нет угля! Нужны женщины из Тулы для пулеметных лент, а то у нас не получается. Сразу же помог. Он соображал

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
и действовал оперативно».

Владимир Николаевич Новиков умел «топить» вопросы.

Хрущев потребовал создавать заводы кукурузного масла. Новиков договорился определиться после уборки кукурузы, посмотрим, мол, какой будет урожай, и постепенно замотали.

На войне мы читали стихи Константина Симонова, я ему навсегда благодарен, и Алексею Суркову, и Илье Эренбургу. Не стоит, наверное, стыдиться той ненависти к немцам, какая была в их стихах, очерках, ненависти ко всем немцам, без разбора; народ, или солдаты, или фашисты – мы ненавидели их всех, которые вторглись в нашу страну. Мы не могли позволить себе разбираться: это просто солдат, а это нацист. Тогда была ненависть не пропагандистская, ненависть своя собственная, за гибнущую Россию. Город за городом они захватывали: взят был Новгород, Кингисепп, Псков – города, в которых проходило мое детство, а между ними были и станции, поселки, куда мы ездили с отцом. Помню, как я вздрогнул, когда услышал по радио: «Лычково». И оно тоже... Ничего не оставалось, никакой моей России, только Ленинград, один Ленинград, и еще Москва, где был я несколько раз, но и вокруг Ленинграда не было уже ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

«Поступай всегда так, будто от тебя зависит судьба России», – говорил мой отец.

Н. Н. был мальчик, когда немцы в местечке собрали всех евреев, выстроили у обрыва и расстреляли. Жителей заставили закопать. Его, мальчика, ему было уже 10 лет, тоже послали закапывать.

«Соседка Люба хорошо знала немецкий. Ее взяли в гестапо машинисткой. Она подкармливала нас – мать, бабушку, детей. Однажды она сказала маме: я печатала списки на расстрел, там вы с детьми как семья комиссара. Бабушка запрятала нас троих в ледник. Мы отсиделись там месяц, пока немцы не стали отступать. Пришли наши. Любу сразу схватили, потому что служила в гестапо. Мама хлопотала, и другие тоже, она спасла не только нас. Не помогло. Ее приговорили к 25 годам лагерей, там она вскоре погибла.

Отца моего – за то, что в окружении уничтожил штабные документы, отправили в штрафную роту. Я возненавидел и немцев и наших одинаково, все они палачи, звери. И до сих пор не вижу разницы».

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, невыносимая цена. Правду о потерях выдают порциями, иначе бы она разрушила все представления о сияющем лике Победы. Все наши полководцы, маршалы захлебнулись бы в крови. Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожно перед полями, заваленными трупами. Из черепов можно было соорудить пирамиды, как на верещагинской картине. Цепь пирамид – вот приблизительный памятник нашей Победе.

Ныне говорят о 30 миллионах.

Пример Ленинградской блокады характерен. Даже добросовестные историки не учитывают погибших на «Дороге жизни», в автобусах, что уходили под лед, и тех, кто погибал уже по ту сторону блокады от последствий дистрофии, и те десятки, сотни тысяч, что в июле-августе бежали из пригородов в Ленинград и там вскоре умирали от голода, от бомбежек «неучтенными». Потери обесценивают не подвиг ленинградцев, а способности руководителей, человеческая жизнь для них ничего не значила. Будь то горожане-блокадники, будь то солдат на фронте – этого добра в России хватит, его и не считали.

Главная у нас могила – Неизвестному солдату.

Он умирал в госпитале, умирал на рассвете, не было сил позвать сестру, да и охоты не было, она помешала бы, потому что он ждал, что ему что-то откроется, смысл уходящей от него жизни, то, что было заложено в его душе и ждало этого часа, перед тем как покинуть мир, смысл взрыва, который настиг его, вернее,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
конца, итога, последней черты. Нет, ничего не приходило, болел еще пуще ноготь, вросший в большой палец ноги, так он его и не успел остричь, и эта глупая мелкая боль пробивалась сквозь обмирание слабеющего сердца, как насмешка. Так он и умрет по-глупому. Наверное, все так умирают, недоумевая, не поняв, что же это все было.

Он вдруг поднялся, откуда нахлынули силы, и громовым голосом, разбудив всех, заорал:

– Двадцать миллионов угробили! Завалили фрицев мясом, на хер мы старались героизировать! Матросовы, Покрышкины.. Подыхаем здесь. Мусор. Остатки. Если Бог есть, достанется вам, не вывернетесь, суки.

И упал. Что-то еще хрипел, но уже не разобрать.

Сашу Ермолаева хоронили на Красненьком кладбище. После похорон я подошел к председателю Кировского райсовета:

– Вы слышали сегодня, как Ермолаев хорошо воевал. Мы с ним вместе в одной части прошли весь сорок первый и зиму сорок второго года. Почему его фамилию не занести на Доску памяти участников войны?

– Там же занесены только погибшие на фронте.

– Я знаю. Но разве это правильно? Оттого, что Ермолаев уцелел, награжден за свои подвиги кучей орденов, от этого он не может быть увековечен?

– Таков порядок. Ничего не могу поделать.

Он сочувственно развел руками, он был защищен законом, ему ничего не надо было предпринимать.

– В сущности, он умер от старой раны. Война догнала его. Выжил благодаря своему богатырскому здоровью.

– Я согласен с вами... Хотя... – Он нахмурился. – Если заносить всех, кто выжил, никаких досок не хватит. Извините, вы ведь тоже воевали.

– От нашей дивизии осталось шестьсот человек, – сказал я.

– Вот видите, – сказал он. – Впрочем, это не нам с вами решать.

– В том-то и дело, что решают те, кто не воевал.

Дома я достал фотографию Саши Ермолаева с женой Любой, на обороте была дата «1949 год». Он был уже в штатском. Мы тогда не думали ни о каких мраморных досках, наградой было то, что мы уцелели. А вот теперь стало обидно, что нигде, ни на заводе, ни в районе, ничего не останется о нем. Я вспомнил нас. Он тащил всю дорогу противотанковое ружье, больше пуда, длинную железную однозарядную дуру.

Взгляд

Она смотрела на отца с горечью. Он застал ее взгляд врасплох. О чем-то они говорили, о чем-то печальном, жаловался он, что ли, неважно, сам разговор выскочил из памяти, остался этот взгляд, горечь которого удивила. Черные глаза ее, известные ему каждой ресничкой, каждым выражением, которое делает кожа вокруг глаз, они вдруг заблестели, как в детстве, когда она собиралась плакать, губы стали быстро опухать. Он ничего не спросил, чтобы она не расплакалась. Он продолжал разговор, но взгляд этот не выходил у него из головы. Горечь ее взгляда никак не вязалась с разговором, горечь была о чем-то другом.

Она увидела. Сам он не хотел замечать, а вот сейчас через ее взгляд увидел. Что ж тут делать, ничего не сделаешь. Может, и отец заметил тот его взгляд, тоже все понял, только виду не подал, как нынче и он.

Так, может, будет и с дочерью когда-нибудь, это уже за горизонтом его жизни.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Она ничего не сказала, и он подумал, сколько в этом мужества, сколько такого мужества проявляют тысячи людей, и отцы и дети, всегда это было и будет. Уход печален не потому, что мы расстаемся с этим миром, – им невозможно налюбоваться, и не потому, что мы чего-то не завершили, – сколько бы мы ни жили, всегда приходится уходить посреди работы.

Он вспомнил, как отец уже стариком все работал, работал, не давая себе поблажек, как росла его доброта, не от бессилия, а от любви к этому миру, который он покидал и торопился оставить ему больше хорошего.

Всю жизнь мой отец пил чай вприкуску. На сладкий чай – не хватало, а под конец уже по привычке.

РЕЦЕПТЫ ЛИХАЧЕВА

Дмитрий Сергеевич Лихачев жил, работал в полную силу, работал ежедневно, много, несмотря на плохое здоровье. От Соловков он получил язву желудка, кровотечения.

Почему он сохранил себя полноценным до 90 лет? Сам он объяснял свою физическую стойкость – «резистентностью». Из его школьных друзей никто не сохранился. «Подавленность – этого состояния у меня не было. В нашей школе были революционные традиции, поощрялось составлять собственное мировоззрение. Перечитать существующим теориям. Например, я сделал доклад против дарвинизма. Учителю понравилось, хотя он не был со мною согласен.

Я был карикатурист, рисовал на школьных учителей. Они смеялись вместе со всеми.

Они поощряли смелость мысли, воспитывали духовную непослушность. Это все помогло мне противостоять дурным влияниям в лагере. Когда меня проваливали в Академию наук, я не придавал этому значения, не обижался и духом не падал. Три раза проваливали!»

Он рассказывал мне:

«В тридцать седьмом году меня уволили из издательства с должности корректора. Всякое несчастье шло мне на пользу. Годы корректорской работы были хороши, приходилось много читать.

В войну не взяли, имел белый билет из-за язвы желудка.

Гонения персональные начались в семьдесят втором году, когда я выступил в защиту Екатерининского парка в Пушкине. И до этого дня злились, что я был против порубок в Петергофе, строительства там. Это шестьдесят пятый год. А тут, в семьдесят втором году, остервенели.

Запретили упоминать меня в печати и на телевидении».

Скандал разразился, когда он выступил на телевидении против переименования Петергофа в Петродворец, Твери в Калинин. Тверь сыграла колоссальную роль в русской истории, как же можно отказываться! Сказал, что скандинавы, греки, французы, татары, евреи много значили для России.

В 1977 году его не пустили на съезд славистов.

Членкора дали в 1953 году. В 1958-м провалили в Академии, в 1969-м – отклонили.

Ему удалось спасти в Новгороде застройку Кремля высотными зданиями, спас земляной вал, затем в Питере – Невский проспект, портик Руска.

«Разрушение памятников всегда начинается с произвола, которому не нужна гласность».

Он извлек древнерусскую литературу из изоляции, включив ее в структуру европейской культуры.

У него ко всему был свой подход: ученые-естественники критикуют астрологические предсказания за антинаучность. Лихачев – за то, что они лишают человека свободы воли.

Он не создал учения, но он создал образ защитника культуры.

Он рассказал мне, как, сидя в Академии наук на заседании, разговорился с писателем Леоновым о некоем Ковалеве, сотруднике Пушкинского дома, авторе книги о Леонове. «Он же бездарен, – сказал Лихачев, – зачем вы его поддерживаете?»

На что тот стал его защищать и всерьез сказал: «Он у нас ведущий ученый по леоноведению».

Они слушали доклад о соцреализме. Леонов сказал Лихачеву: «Почему меня не упоминают? Соцреализм – ведь это я».

Рассказывая, Лихачев добавил: «Жаль, что он не сказал „Людовик XIV – это я“, – и тогда всем стало бы ясно».

Недавно я нашел одно любопытное письмо ко мне Д. С. Лихачева. Переписка наша была скудной, мы общались лично, и это имеет свои потери, ибо я ничего из его рассказов и размышлений не записывал, в письмах же все сохраняется, тем более что писал он без нынешней нашей поспешности, он любил этот эпистолярный жанр, старомодный, уходящий в прошлое. А ведь его, в сущности, ничего не заменяет. Ничего не остается от «эсэмэсок», телеграмм, факсовых сообщений, мы теряем свою прошедшую жизнь, встречи, сердечные потрясения, жизнь духа. Дневников не ведем и писем не пишем, если и пишем, то короткую, бедную информацию. Посмотрите, какая пришла скудость выражений: «Уважаемый...» – типично начинается любая бумага и «С уважением» – кончается.

ПИСЬМО Д. С. ЛИХАЧЕВА

«Дорогой Даниил Александрович! Один Ваш вопрос неотступно преследует меня, и я все думаю: как было и что. Вы спросили об обращении „гражданин“ и „товарищ“. Вопрос этот соприкасается с другой важной языковой проблемой, очень сейчас затрудняющей людей. Даже Солоухин писал о ней, предложив, с моей точки зрения, неудовлетворительное решение. Вопрос этот состоит в том – как обращаться к человеку, если не знаешь его имени? Для обращения к женщинам любого возраста этот вопрос сейчас „решен“. К кассирше, продавщице даже 50-летнего возраста обращаются без запинки – „Девушка!“. А как было до революции? Не все могу вспомнить, но, что могу, вспомню.

Извозчик торгуется с моим отцом. Отец, если разговор идет хорошо, говорит ему – „голубчик“. Обращаясь к человеку, явно непочтенному, с его точки зрения, отец говорит ему: „Почтенный, как пройти“ и т. д. Если возникает спор с человеком оборванного вида (не уступает дорогу и пр.), отец говорит: „Почтеннейший, посторонись, видишь...“ и пр. Женщине, хорошо одетой, говорит „сударыня“, молочнице, приносящей нам молоко, говорит „голубушка“. „Сударь“ никогда не говорится, только в сочетаниях и при размолвке – „сударь вы мой!“. Извозчик, носильщик (последних называли „артельщиками“), обращаясь к людям, по-европейски одетым, говорили всегда „барин“. „Барин, накинь гривиничек“. Знакомому „барину“ дворник его дома говорил „ваше благородие“. Звоня на телефонную станцию, все говорили: „барышня, соедините меня с номером таким-то“ (возраст „барышни“ и ее семейное положение только предполагались – замужняя и пожилая телефонисткой работать не станет). Обращения „ваше превосходительство“, „ваше высокоблагородие“, „ваше священство“, „ваше преосвященство“, „ваше сиятельство“ и пр. говорились только в служебной обстановке или тогда, когда чин, к кому обращались, был точно известен. За картами, однако, полковник приятелю-генералу мог сказать – „ну, ваше превосходительство, твой ход“. Друзья в присутствии посторонних (офицеры при солдатах) могли говорить друг другу „ты“, но никогда не называли сокращенным именем: „Ты, Иван Иванович, ошибаешься“ и никогда не называли своего друга при подчиненных „Ваня“, „Коля“, „Николай“ и т. д. Манера называть по имени и отчеству друзей, с которыми „на ты“, была даже наедине у военных.

На конвертах – даже детям (сохранилась открытка отца из Одессы мне – шестилетнему) – перед именем и отчеством сверху писалось – „Е. В.“, т. е. „Его высокоблагородию“ и далее – „Дмитрию Сергеевичу Лихачеву“. И это не было шуткой: так полагалось писать на конверте.

Официанты в хороших ресторанах называли друг друга „коллега“ (но никогда – в трактирах, даже почтенных, не говорили „коллега“ друг другу полове). Студенты говорили друг другу „коллега“ и так же обращались к студентам преподаватели.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
После революции до 26–28 года обращение друг к другу студентов „коллега“ и старших профессоров к студентам „коллега“ означало известный консерватизм и неприятие новых порядков.

Теперь о словах „товарищ“ и „гражданин“. До революции слово „товарищ“ не в качестве обращения было в большом ходу – товарищи по школе, по университету; существовали товарищества и были „товарищи министра“, но значение „знамени“ своей прогрессивности специфическое обращение „товарищ“ на улицах, в трамваях, в учреждениях, в воззваниях и указах приобрело после 17 года. В разных устах оно имело различное эмоциональное наполнение. „Товарищами“ называли матросов–революционеров. В устах „недобитых буржуев“ оно было равносильно „клешники!“. „Гражданин“ означало в целом „купца“ и в обращениях не употреблялось. „Гражданин Минин и князь Пожарский“. Мой дед по отцу был „потомственный почетный гражданин“ (член городской Ремесленной управы) и могли бы по деду так называться мой отец и я сам, но отец, получив первый чиновничий чин, стал „личным дворянином“, что по наследству не передавалось (в этом смысл слова „личный“ означало „не наследственный“). Но быть „личным дворянином“ было более почтенным, чем быть „потомственным и почетным гражданином“. „Гражданин“ в значении пафосно–революционном, как обозначение „свободного и равноправного плена общества“ у нас не привилось. Характер официального обращения это слово получило поздно по приказу, отменявшему в официальных случаях обращение к посетителям учреждений, милиционеров к прохожим и т. д. со словом „товарищ“. Когда кондукторы в трамвае перестали говорить „товарищи, пройдите“ или милиционер не обращался – „товарищ, вы нарушили...“. настроение у всех стало чрезвычайно подавленным. Все почувствовали себя преступниками, потенциальными „врагами народа“. Об этом мало кто сейчас вспоминает (никто не пишет об этом в мемуарах; это как-то забылось), но обращение „гражданин“ до сих пор несет печать какой-то подозрительности и строгости... Слово „гражданин“ с этим приказанием приобрело особый оттенок, которого раньше в нем не было.

В газетах, в приказах, расклеивавшихся по городу, и т. д. всегда ранее было обращение „Товарищи!“ . И. В. С. не восстановил былого слова „товарищ“ и в первые дни войны обратился „Братья и сестры!“ . Вы помните это.

Оставляю копию этого письма себе: мне самому интересно коснуться темы обращений к людям раньше и теперь в разных случаях. Привет Римме Михайловне. Зин. Ал. кланяется Вам обоим.

Приятная была поездка в Старую Русу (ее теперь пишут через два „с“).

Д. Лихачев

30. v.1984».

Письмо это примечательно не только содержательно, оно пример подхода Дмитрия Сергеевича Лихачева к интересному для него вопросу. Прежде всего он заглядывает в прошлое, как это было раньше. Люди прежних времен, считал он, ничуть не глупее нас. Человек не становится умнее, мудрее. И двести, и четыреста лет назад общество имело разумные традиции, мораль, свои правила и чести и взаимоотношений. Оказывается, правила эти достойны уважения, они вовсе не примитивны, не отличаются грубостью. Многие из той прошлой жизни сложилось из долгого опыта, оправдано столетиями. «Превосходительство» – было признанием превосходства положения, должности, заслуженного, ибо большей частью доставалось непросто.

Вот Лихачев в одной заметке касается такого понятия, как запах, и сразу считает нужным сообщить, что три столетия назад запахи цветов, еле уловимые запахи обработанного дерева ценились больше, чем сейчас. Петр Первый велел сажать прежде всего ароматные цветы, по дорожкам в садах сажать мяту. Когда ходят по ней (мнут ее), она пахнет.

Действительно, приятных запахов стало меньше, если, конечно, не считать духов, туалетной воды и прочей химии.

То же и со звуками. Раньше они услаждали слух – птицы, коровы, овцы, ныне нас мучает сигнализация, скрипы тормозов, грохот поездов.

Проблема личности и власти – это проблема не только интеллигенции. Это проблема всех порядочных людей, из каких бы слоев общества они ни происходили. Порядочные люди нетерпимы не к власти как таковой, а к несправедливости, исходящей от власти.

Дмитрий Сергеевич вел себя тихо, пока его мнение не имело для общества и для власти особого значения. Он работал, старался быть незаметным и беспокоился о собственной совести, о душе, желая максимально уклониться от любого, даже малейшего участия в контактах с властью, тем более – от участия в ее неблагоприятных делах. Спорить с властью, действовать публично на пользу общества Лихачев начал практически сразу, как только получил достаточный общественный статус, как только почувствовал свой вес, понял, что с ним стали считаться.

Первыми замеченными в обществе его поступками стали его выступления о переименовании улиц и городов, в частности выступление на Ленинградском телевидении. Пермь была Молотов, Самара – Куйбышев, Екатеринбург – Свердловск, Луганск – Ворошиловград и т. п. Телевидением у нас тогда руководил Борис Максимович Фирсов, по-моему, весьма умный и порядочный человек. Выступление Дмитрия Сергеевича было вполне корректным по форме, но по сути – дерзким вызовом власти. Оказалось, что Лихачева за него наказать было трудно, либо – неудобно. Кара постигла Фирсова. Его уволили, и это было большой потерей для города. Таким образом, проблема «выступить – не выступать» против власти совершенно неожиданно приняла для Дмитрия Сергеевича другое измерение. Выступая в газете или на телевидении, он подвергал риску не только себя, но и тех людей, кто предоставлял ему возможность выражать свои взгляды, обращаясь к обществу, к массовой аудитории.

Второй жертвой власти в связи с лихачевскими выступлениями стал главный редактор «Ленинградской правды» Михаил Степанович Куртынин. Его уволили после статьи Лихачева в защиту парков. Куртынин, так же как и Фирсов, был хорошим редактором, и это событие также стало потерей для города. Понимал ли Лихачев, что в результате его выступлений могут пострадать другие люди? Может быть, и понимал, скорее всего, не мог не понимать. Но не мог промолчать. Разумеется, в обоих случаях и Фирсов, и Куртынин и сами хорошо осознавали, что идут на риск, но, видимо, ими двигало то же, что и Дмитрием Сергеевичем, – совесть, порядочность, любовь к родному городу, гражданское чувство.

Отмалчиваться или выступать, не считаясь с опасными последствиями, – это вопрос непростой не только для Лихачева, это и для меня непростой вопрос. Такой выбор рано или поздно встает перед каждым из нас, и здесь каждый должен принимать свое личное решение.

Как бы то ни было, но Лихачев начал выступать. Что, собственно, произошло для него в результате? Он вышел из убежища. К примеру, проблема Царскосельского парка формально не являлась проблемой Лихачева как специалиста. Он вступал в конфликт с властью не как профессионал, специалист по древнерусской литературе, а как деятель культуры, общественный деятель, – во имя своих гражданских убеждений. Существовало, что на этом пути у него могли возникнуть не только неприятности личного свойства, но и помехи для научной деятельности. Так и случилось: он стал невыездным. Не выходил бы за рамки литературоведения – ездил бы за рубеж по различным конгрессам, встречам. Его деятельность – редкий пример в академической жизни. Чаще люди выбирают молчание в обмен на расширение профессиональных возможностей. Но если считаться с такими вещами, то нужно закрывать всякую возможность выражения своих гражданских чувств и строить отношения с властью по принципу «чего изволите?». Это – вторая проблема, с которой пришлось столкнуться Дмитрию Сергеевичу, и он также решил ее в пользу исполнения своего общественного долга.

Не могу не вспомнить один весьма удивительный пример лихачевской отваги: его выступление вместе с Собчаком на Дворцовой площади против введения чрезвычайного положения и ГКЧП. Тогда Дмитрий Сергеевич проявил подлинное бесстрашие. Выступление Собчака было по-настоящему красивым поступком. Но Анатолий Александрович был политиком. И часть профессии политика – рисковать. Для Дмитрия Сергеевича это не было профессией, но он принял одинаковую с Собчаком долю риска. Между прочим, исход политической схватки между демократией и прежним режимом был тогда непредсказуем. Многие функционеры слали в Москву телеграммы с выражениями верноподданничества. Лихачев выступил, безоглядно.

Наверное, в разные эпохи, в разные исторические моменты страна получает разную власть. Когда-то власть более справедлива, когда-то – менее. Когда-то она совершает больше ошибок, когда-то – меньше. Но «эра милосердия» пока остается лишь утопией. А это означает, что перед каждым новым поколением порядочных людей и перед каждым порядочным человеком в отдельности снова и снова будут вставать те же вопросы, примеры решения которых дал своей жизнью Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Лихачев рассказывал:

«Академику Марру выделили кабинет площадью не меньше двух тысяч метров. Там автомобиль мог ходить. Стол письменный поставили на возвышении. Настоящий тронный зал. Пришел к нему однажды Б. Маленького роста, стоит как перед престолом. Марр растрогался, пошел провожать его, в проеме между двумя дверьми, вторую начальство поставило, чтобы не подслушивали, Марр остановил Б. и сказал тихо:

– Меня считают марксистом, а я ничего Маркса не читал, – он засмеялся, – и не собираюсь».

«Русская православная церковь не покаялась за то, что сотрудничала с советской властью, нарушала тайну исповеди, имела священников – членов партии».

(Д. С. Лихачев)

– Даже в случаях тупиковых, – говорил Дмитрий Сергеевич, – когда все глухо, когда вас не слышат, будьте добры высказывать свое мнение. Не отмалчивайтесь, выступайте. Я заставляю себя выступать, чтобы прозвучал хоть один голос.

ЛИЦО

Это единственное место у человека, открытое для показа того, что делается там, в душе. У собаки есть еще хвост, что-то она им выражает – приветливость, настороженность, а у человека только лицо. Уши у него не поднимаются, шерсть не встает. Есть шея, плечи, они мало что дают, а вот лицо – это сцена, где играют чувства, отражаются мысли, есть лоб, который сообщает морщинами, губы многое подсказывают, нос, ноздри, краски щек, но главные действующие герои – глаза.

На лице свои безмолвные роли играет много актеров. Это театр мимов. Появляются знаки, годные для прочтения: знаки притворства, страстей. Труднее всего приходится глазам, через них можно заглянуть вглубь, им трудно скрыть свой блеск, гнев, еще труднее – горе, когда хочешь не хочешь, наворачиваются слезы.

Я все это изучал по ее прелестному лицу, безупречно красивому, оно показывало открытость, ни тени притворства, но именно показывало, это была искусная игра, пожалуй, естественная, рожденная женским инстинктом, никто их не обучает этому. Голубые глаза темнели, и тогда приоткрывалась мольба, смешанная со злостью, что бурлила там, внутри. Но наверху, на лице, шла игра обольщения, призыв вспомнить все хорошее, что было, близость, поцелуи, шепот, вскрики счастья.

Я смотрел спектакль; то, что творилось на сцене лица, не имело ко мне отношения. Губы играли отлично, и морщинки вокруг глаз им помогали. Жаль, что я не видел своего лица, можно было сравнить, что за ансамбль получался.

Глаза ее загорелись, как будто там повысили напряжение...

ГЕНЕТИКИ

В годы работы над «Зубром» автор погрузился в сообщество биологов, своеобразное, не похожее на сообщества физиков, химиков, историков и прочих научных корпораций. Там существуют свои порядки, все так или иначе знакомы, одни лично, другие по работам, конгрессам, симпозиумам, да мало ли. Сообщество биологов же в 1960-е – 1970-е годы было расколото на два лагеря: лысенковцы и антилысенковцы, те, кто преуспел в годы лысенковщины, и кто пострадал и был изгнан, смещен, выслан, арестован, а то и погиб. Были и нейтралы, которые как-то сумели укрыться. Большую же часть биологов трагедия лысенковщины резко размежевала.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Генетики, ботаники, зоологи, академики, профессора, агрономы, специалисты по сурепице, картофелю, червякам... Коля Воронцов, эволюционист, который питал тайную страсть к летучим мышам, все эти специалисты по разным земным козявкам и мастодонтам, они восхищали автора своей образованностью, своей начитанностью, а главное, общением с живой природой. Это не то что физики, которые жили в непредставимом мире. А эти биологи, генетики – это люди, которые общались с существами не менее интересными, чем они сами. Среди биологов было несколько героев недавних битв с Лысенко, были фронтовики, особенно смелые авторы, а среди них, фронтовиков, уж совсем легендарная личность Иосифа Абрамовича Рапопорта. Он был дважды герой, сперва на фронте, а потом, после войны, в сражениях с Лысенко. При этом он еще отличался как генетик, создал классические работы по мутагенезу и прочим вещам, в которых я, честно говоря, не разобрался.

На фронте Рапопорт был ранен в голову и потерял левый глаз, лицо его пересекала повязка, закрывая рану. Повязка придавала ему боевой вид, напоминая Нельсона, Моше Даяна или пиратов из книг Стивенсона. При знакомстве он немедленно начал расспрашивать автора о знаменитой тогда встрече писателей с Хрущевым, о разговоре автора с Молотовым, но автор перебил его, потому что о Рапопорте и Молотове ходила куда более значительная легенда. Еще во времена Сталина, после выступления Рапопорта на сессии ВАСХНИЛ, его исключили из партии. В райкоме его уговаривали отречься от генетики, сослались на то, что сам Молотов поддерживает новую биологию Лысенко. Рапопорт тогда сказал: «Почему вы думаете, что Молотов знает генетику лучше, чем я?» фраза эта, простейшая для специалиста масштаба Рапопорта, как оказалось потом, передавалась из уст в уста восторженно, как вызов всем вождям и начальникам. Шел 1948 год. Был убит артист Михоэлс, началась кампания антисемитизма, разоблачали безродных космополитов, прорабатывали Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна. Идеологический зажим происходил повсюду. И эта невинная реплика Рапопорта выглядела в то время чуть ли не как акт сопротивления всему партийному стилю руководства. Они уверенно указывали музыкантам, композиторам, музыкальным гениям России, какая музыка нужна, какая хороша, они поправляли Эйзенштейна, Козинцева, Шостаковича, бесцеремонно наставляли ученых-генетиков и наказывали несогласных. Сталин уверенно высказывался в самых разных областях науки, будь то история России, языкознание, экономика, – не только устно, писал статьи. И его сподвижники не стеснялись, и соответственно вели себя и секретари обкомов, они тоже считали себя специалистами по всем вопросам. Практически их самоуверенность выглядела так: раз я всем и всеми руковожу, значит, я обо всем могу, нет, не могу, а должен, нет, не должен, а обязан иметь суждение. Подобного не позволяли себе даже царствующие особы России. Среди изречений Екатерины Великой были два, которыми она часто пользовалась. Первое: «В обществе всегда находится человек, который умнее меня». Второе: «Меньшинство обычно более право, чем большинство». Ни то ни другое коммунистическим вождям не было свойственно, ни один из них не обладал чувством самоиронии. Реплика Рапопорта тем более нравилась автору, что и на фронте этот человек вел себя так же безоглядно. Двадцать седьмого июня 1941 года Рапопорт, как и автор, ушел добровольцем в армию, но если автор оставался рядовым, то Рапопорт вскоре стал командиром стрелкового батальона. Пулевое ранение в ноябре 1941 года привело к поражению руки. После госпиталя он вернулся в строй, опять батальон, затем начальник штаба полка. И так, сражение за сражением, его путь лежал через Украину, Молдавию, Венгрию, Дунай, Будапешт, бои за Вену, он уже майор, он начальник оперативного отдела штаба дивизии. В декабре 1944 года, получив тяжелое ранение, он отказался уйти с поля боя. Два ордена Красного Знамени, орден Суворова, Отечественной Войны. Он был представлен в конце войны к званию Героя Советского Союза. Не дали. При его еврейском происхождении и при такой очевидной фамилии его награды выглядят тем более значимыми. Можно к перечню наград добавить американский орден и венгерский орден Красной Звезды.

Такая военная биография редкость. Столько в ней удач, великолепных операций, отчаянной отваги. Еще большая редкость, что, придя с войны, с тем же мужеством он продолжал сражаться, когда начался разгром генетики.

После демобилизации у фронтовиков разительно менялось их поведение. На гражданке пропадала солдатская уверенность, недавние храбрецы терялись, автор замечал это и на однополчанах, и на самом себе. Подняться на трибуну, поспорить с начальством, отстоять товарища, выложить то, что думаешь, было труднее, чем подняться в атаку. Хотя не свистели пули, хотя никто не обстреливал трибуну, а вот поди ж ты... Громили фрицев, «тигров» не боялись, казалось, отныне победителей ничто не остановит, тем более явная несправедливость.

Рапопорт сообщил автору одну интересную деталь о том, как в 1929 году в Ленинграде состоялся Первый Всесоюзный съезд по генетике и селекции. Приехало много иностранцев. Возглавлял съезд Николай Иванович Вавилов. Перед открытием к нему явился представитель от Сталина и сказал, что Сталин просил, чтобы съезд направил ему приветствие. Вавилов отказался, поскольку на съезде присутствовало много иностранцев, для которых приветствие генетиков главе государства выглядело глупостью. Сталин, как известно, отличался злопамятностью. Возможно, он припомнил Вавилову его отказ, решая его участь.

Интеллигенция издавна мечтала «истину царям с улыбкой говорить», то есть вполне мирно, корректно, в расчете на ответную признательность, на то, что истина подействует, и уж никак не имея в виду, что за это будут ссылать или усекать голову. Державин, например, после написанной им оды «Фелица» получил от Екатерины Великой должность статс-секретаря и со всем пылом принялся преподносить царице свои соображения о том, что есть правда и справедливость. Очень скоро Екатерина постаралась избавиться от своего советчика, удалив его в Сенат. Радищева тоже удалила с его откровениями, но подальше. Попытки не прекращались, никак не удавалось внушить этим господам, что правители лучше них знают, в чем состоит правда и справедливость. Великому вождю всех народов понадобилось истребить несколько миллионов умников, чтобы вывести у остальных эту дурную привычку. Ни говорить, ни писать больше не осмеливались, перешли на шепот, пока совсем не замолчали, только аплодировали все громче, кричали «ура», если что и произносили, то скорее в лагерях, чем на воле. О том, чтобы самому товарищу Сталину высказать что-либо поперек, хотя бы наискосок, только в страшном сне могло присниться. Так товарищ Сталин остался без истины и должен был сам ее добывать. От Дмитрия Дмитриевича Шостаковича автор как-то узнал об удивительном поступке замечательной пианистки Марии Юдиной. Однажды Сталин услышал по радио концерт Моцарта № 23 в исполнении пианистки Юдиной. Концерт и исполнение понравились. Радиокomitee немедленно изготoвил для него звукозапись. Получив ее, Сталин приказал послать Юдиной 20 тысяч рублей. Через несколько дней он получил от нее ответ: «Благодарю Вас за помощь. Я буду день и ночь молиться за Вас и просить Бога, чтобы он простил Вам Ваши тяжкие грехи пред народом и страной. Бог милостив, он простит. Деньги я пожертвую на ремонт церкви, в которую я хожу». Шостакович назвал это письмо самоубийственным. И в самом деле, был немедленно подготовлен приказ об аресте Юдиной, но что-то удержало Сталина подписать его.

Сам Иван Петрович Павлов писал правительству в 1934 году, после убийства Кирова, когда начались репрессии: «Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовольствием приводят это в исполнение, как и тем, насильно причаемым участвовать в этом, едва ли можно остаться существами чувствующими и думающими человеком».

Диагноз великого физиолога подтвердила жизнь ближайших сподвижников Сталина, они все теряли человеческое.

Павлов был убежден, что социальный опыт в России обречен на неперенную неудачу и ничего в результате «кроме политической и культурной гибели моей родины не даст». Все это он писал открыто Молотову и другим. «Аресты непрерывные и бессмысленные без всякого основания порождают упадок энергии и интереса к жизни» – это он писал в связи с арестом академиков Прянишников и Владимиров.

Незадолго до смерти Павлов просил Петра Капицу, которому не разрешили вернуться в Англию, насильно оставили в России: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю что думаю, а вот я умру, Вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины».

Капица его завещание добросовестно выполнял, писал и писал Сталину.

Ученые «дерзили» не просто личностям, они позволяли себе не принимать основы, идеологию, саму философию марксизма-ленинизма, даже материализм. Не потому, что они были такими отчаянными храбрецами, а потому, что они были служителями истины, были рыцарями правды, которой не могли, просто физически не могли не служить.

Марксизм утверждал, что перед беспредельной мощью человеческого разума нет

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru непознаваемого, а тот же Рапопорт показывал, что факты опровергают это: «Мы никогда не получим информацию о галактиках, удаляющихся от нас со скоростью света, мы не можем постичь на собственное самосознание, на его природу». То же самое автор слышал от крупнейшего биофизика Блюменфельда, от Тимофеева-Ресовского. Так же спокойно Рапопорт отвергал определение материи, которое дал Ленин и которое в институте мы заучивали наизусть. Он подмигивал своим единственным глазом, напрасно марксисты так уверены, что только практика подтверждает истинные знания, а как же взаимоотношения пространства и времени по теории относительности, и еще всякие теории насчет темной материи, ему нравилось выступать еретиком, за это уже не сжигали, не поджаривали, но отстрел случался. Александр Александрович Любищев, знаменитый биолог, открыто проповедовал идеализм, Тимофеев-Ресовский считал Лысенко фальсификатором, таких было немного, но они были.

ПАМЯТНИК МИХАИЛА АНИКУШИНА

При въезде в город, на Средней Рогатке, или в устье Московского проспекта, стоит известная композиция памяти Ленинградской блокады. Автор ее Михаил Константинович Аникушин, великолепный скульптор, создатель двух памятников, оба для меня лучшие памятники советской эпохи – памятник Пушкину на площади Искусств и памятник Чехову, в Москве у МХАТа.

Он не то чтобы любил, он обожал этих писателей, над обеими фигурами работал годами, мастерская его была переполнена вариантами, Чехов в такой позе, в другой. Питерский памятник Пушкину мне представляется наиболее совершенным из всех памятников, установленных Пушкину в России. Я присутствовал при его открытии, Миша попросил меня выступить. Я поднялся на дощатую трибуну, произнес что-то; о Пушкине каждому россиянину есть что сказать. Сдернули покрывало, и то, что я увидел, было так прекрасно, что я застыл, не мог сойти с трибуны, стоял, обомлев, меня поразила свобода, вдохновенная свобода, это было воплощение свободы, невозможной в нашей стране. Сейчас, наверное, это уже так не воспринимается, но тогда...

Проект монумента Блокаде был тоже хорош. Даже в том эскизе, который мне показал Михаил Константинович. На нем фигуры дистрофиков, измученных голодом, лишениями горожан, бомбежками, обстрелами, все беды войны обрушились на них. За 900 дней они превратились в тени, прозрачные, невесомые. Чем они еще живы? Куда они идут? Они идут к мальчику, золотой мальчик, воплощение Победы, светит им впереди. Это их вера.

Автор нашел прекрасную метафору, символ блокадной эпопеи, несмотря ни на что мы верили в Победу.

Дальнейшую историю я знаю со слов Аникушина и архитектора памятника Сергея Сперанского. Начальство в лице секретарей обкома, а как же, они главные, во всем руководящая роль партии, стали знакомиться с проектом. Горожане есть, а где же бойцы Ленинградского фронта, как же без них, они должны быть, но если солдаты, тогда и матросы Балтийского флота. Если они, то и партизан, хотя бы один. А летчики? Обязательные фигуры всякий раз добавляются, набралась уже толпа, делегация. Представители всех слоев населения, всех видов оружия. Обязательно, это же не просто блокадники, это монумент всем защитникам Ленинграда.

Протесты авторов ни к чему не приводили, им ставили в пример монумент Сталинграда, где Вучетич изваял многофигурную композицию. Чем мы хуже? Сооружение Вучетича одобрено руководством страны. Это что-то означает.

А мальчик, его как понимать? Нашим ориентиром была партия, она вела нас к победе. У нас есть символ на Пискаревском кладбище – Родина-мать, при чем тут мальчик?

И пошло-поехало. В конце концов мальчика убрали.

Осталась сборная делегация защитников города, среди них голодные и нормальные, всякие, все же с печатью блокадной жизни, они идут из города навстречу приезжим. Что это должно значить, стало совершенно непонятно. Душу из памятника вынули. Чего хотят эти люди? Стоит только взглянуть, и памятник вызывает недоумение.

Губительно вмешательство партийных невежд в искусство. За все время советской жизни они никогда ничего не улучшили, только портили, уродовали замыслы

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
художников, режиссеров, писателей.

Вот и этот монумент искалечили. Мой французский гость, художник, не зная предыстории памятника, удивлялся этой толпе истощенных людей, словно уходящих из города, – первое, что встречают въезжающие в Санкт-Петербург. «Пугающая встреча», – сказал он.

Михаил Аникушин был великим скульптором. Слава Бухаев, талантливый питерский архитектор, рассказывая печальную историю памятника защитникам города, вдруг вспомнил, как Романов, заметив Аникушина на каком-то сборище, сказал: «И ты, лысый, здесь». И как Миша смутился и позже сказал Бухаеву: «Мне бы надо ему ответить: „Я все же старше вас, товарищ Романов“». Не нашелся.

Папы римские и те куда почтительней обращались со своими художниками, понимали, что есть они и что есть божий дар.

Мастерская Аникушина была заставлена фигурками Чехова, он сделал чуть ли не две сотни вариантов и все не мог остановиться. Это была требовательность к себе большого мастера. Среди вариантов, на мой непросвещенный взгляд, были шедевры, а Миша все искал и искал нечто соразмерное его любви к Чехову.

НЕЧТО ТАИНСТВЕННОЕ

В советские времена низкий нравственный уровень можно было оправдывать страхами, идеологией, репрессиями. В нынешнем человеке мы, очевидно, имеем дело с принципиально другим отношением к стыду и совести. Появились новые требования к ним, новые, заниженные уровни стыда и совести, и они считаются нормальными.

В последние годы своей жизни Дмитрий Сергеевич Лихачев упорно возвращался к проблеме совести. Он с печалью видел, как она перестает быть мерилom нравственности, как Россия становится страной без стыда и совести.

После русского философа Владимира Соловьева Лихачев, пожалуй, единственный, кто так настойчиво занимался категорией совести.

Соловьев считал, что совесть есть развитие стыда. Должен быть стыд, нет стыда – тогда совесть молчит.

Стыд был первым человеческим чувством, которое отличило человека от животных. Можно считать, что человек – животное «стыдящееся». Господь обнаружил первородный грех Адама и Евы, потому как они устыдились своей наготы. И изгнал их из рая.

Человек постепенно начинал понимать, что «должно по отношению к людям и к богам», и тогда инстинкт стыда стал превращаться в голос совести, то есть Адам и Ева устыдились совершенного ими, и этот стыд, который заставил их прикрыть себя фиговыми листьями, и был первым голосом совести.

Лихачев сумел развить это положение, дополняя его ролью памяти. Он показывал, как память формирует совесть. Без памяти нет совести, память сохраняет наши грехи, память семейная, культурная, народная питает совесть, требует от нее. Она побуждает совестливость отношения к старшим, к друзьям, родным, вспоминает, правильно ли мы жили, хорошо ли обращались со своими родными. Позднее наше раскаяние – это работа памяти, которая тревожит совесть. Память как историческая категория – когда, побывав в Гамбурге на кладбище русских солдат, жертв Первой мировой войны, я вдруг сообразил, что у нас в России я не видел и не знаю ни одного кладбища, где сохранялся бы прах русских солдат, погибших в ту Первую мировую войну.

А что такое действия вандалов на наших кладбищах или то, что они творят в Летнем саду, – это что? Это свидетельство жизни без памяти.

Лихачев обращал наше внимание на некоторые особенности совести: «Совесть противостоит давлению извне, она защищает человека от внешних воздействий!».

И в самом деле, к человеку порой может достучаться только совесть, внутренний его голос, он куда действенней, чем бесконечные призывы, пропаганда учителей, воспитателей, даже родителей.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
«Поступок, совершенный целиком по совести, – это свободный поступок».

Я спрашиваю себя: а зачем человеку придали (навязали) эту самую совесть, ведь никто не мешает отмахнуться от нее, какой от нее прок, если она не приносит никаких выгод, если не дает человеку преимуществ ни для карьеры, ни материальных? Благодаря чему она существует, совесть, которая грызет и мучает, от которой порой не отвяжешься, не отступишься? Откуда, в сущности, она взялась? На самом деле мы в течение жизни убеждаемся, что она исходит из глубины души и не бывает ложной. Она не ошибается. Поступок по совести не обесценивается, не приводит к разочарованию.

Когда я говорю «поступок по совести», мне приходят на память некоторые примеры, удивительные и поразившие меня надолго.

28 июля 1958 года умер Михаил Михайлович Зощенко. На «Литераторских мостках» партийное начальство хоронить его не разрешило, видимо, посчитали, что недостойн. Им всегда виднее. И рядом не разрешили. Наконец указали (!) похоронить его в Сестрорецке, где он жила на даче.

Гражданскую панихиду проводили в Доме писателя. Поручили вести ее Александру Прокофьеву, Первому секретарю Союза писателей. Обязали вести кратко, не допуская никакой политики, строго придерживаясь регламента, не позволять никаких выпадов, нагнали много милиции и сотрудников КГБ. Все желающие в Дом попасть не могли, люди заполнили лестницу, ведущую к залу, где стоял гроб, большая толпа осталась на улице. Гроб поставили в одной из гостиных. Радиофицировать не разрешили. Слово дали Виссариону Саянову, Михаилу Слонимскому, его другу времен «Серапионовых братьев».

Церемония заканчивалась, когда, вдруг растолкав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, автор известной книги об Александре Грине «Волшебник из Гель-Гью», человек, который никогда не выступал ни на каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный. Наверное, поэтому Александр Прокофьев не стал останавливать его, тем более, что панихида проходила благополучно, никто ни слова не говорил о травле Зощенко, о постановлении ЦК, словно никакой трагедии не было в его жизни, была благополучная жизнь автора популярных рассказов.

«Миша, дорогой, – закричал Борисов, – прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты!»

Надрывный, тонкий голос его поднялся, пронзил всех, покатился вниз, люди передавали друг другу его слова, на улице толпа всколыхнулась.

Александр Прокофьев не посмел нарушить похоронный ритуал перед лежащим покойником. Рыдая, Леонид Борисов отошел.

Я возвращался домой с Алексеем Ивановичем Пантелеевым, он говорил: «Слава Богу, хоть кого-то допекло, нашелся человек, спас нашу честь, а мы-то, мы-то...»

Что это было? Борисов не собирался выступать, но что-то прорвалось, и он уже не мог справиться с собой, это было чувство не рассуждающее, подсознательное, неспособное выбирать. Это была совесть, совесть взбунтовалась! Она безрассудна.

Быть бессовестным сегодня для многих: «быть как все», «иначе не прожить», «ничего не поделаешь, таково наше общество».

Можно, конечно, считать, что наше общество унаследовало советскую мораль, когда никто не каялся, участвуя в репрессиях, когда поощряли доносчиков, стукачей.

Но при чем тут совесть? Она относится к личности, она принадлежит душе, единственной, неповторимой, той, что нас судит.

У Чехова есть рассказ «Студент». Маленький, на три странички. Сам Чехов считал его лучшим из всего написанного.

В Страстную пятницу студент Духовной академии, голодный, озябший, идет домой,
Страница 18

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru размышляя о том, что кругом всегда была такая же бедность, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. У костра на огороде сидят две бабы. Студент садится к ним отогреться и рассказывает им историю того, как трижды апостол Петр отрекся от Христа, не устоял, отрекся и заплакал. Слушая его, растроганные бабы тоже заплакали. Потому что то, что происходило в душе Петра, им близко, значит, близок был тот стыд, те муки совести, какие испытывал апостол. Студент пошел дальше, и вдруг радость заволновалась в его душе. Он думал о том, как прошлое «связано с настоящим непрерывною цепью событий: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Совесьть – одно из самых таинственных человеческих чувств.

Казалось бы, совесьть в своих требованиях угрожает своему хозяину. Недаром в Грузии говорят: «Мой враг – моя совесьть». Это чувство, у которого нет выбора, оно не бывает ни умным, ни глупым, эти категории не для него. Зачем же оно дается человеку?

Есть люди, которые сумели отделаться от совести, избавиться от нее, отсутствие ее нисколько не мешает им жить, они чувствуют себя даже комфортно без нее, ничего не грызет их.

Лихачев считал совесьть «таинственным явлением».

Действительно, рациональное объяснение ему подыскать трудно. Чувство это иррационально, в этом его сила и в этом беспомощность перед холодными соображениями эгоизма. Я никогда не мог объяснить, зачем оно дано человеку, необходимо ли оно, но человек без совести – это ужасно.

Для меня в этом смысле одно из самых сильных стихотворений Пушкина – «Воспоминание», написанное в 1828 году. Кончается оно так:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Нет ничего труднее, чем отказаться от самооправданий. Требования совести, ее суд, ее приговор происходят втайне. Ничто не мешает подсудимому, который сам себя судит, уклониться от приговора. Пушкин отвергает любое снисхождение, не дает себе пощады, даже слезы раскаяния не помогают. Мы не узнаем, за что он казнил себя, но признание это поражает своим мужеством.

На уроках литературы изучают Пушкина, но не учат тому, что совесьть для него, для Лермонтова, для Толстого, для Достоевского была реальностью, что у человека есть душа, тоже весьма реальное понятие, надо заботиться о ее здоровье, стараться осознать, что происходит с ней.

Работая над «Блокадной книгой», мы с Адамовичем были потрясены блокадным дневником школьника Юры Рябинкина. В нем предстала история мучения совести мальчика в страшных условиях голода. Каждый день он сталкивался с невыносимой проблемой – как донести домой матери и сестре кусок хлеба, полученный в булочной, как удержаться, чтобы не съесть хотя бы довесок. Все чаще голод побеждал, Юра мучился и клял себя, зарекаясь, чтобы на завтра не повторилось то же самое. Голод его грыз и совесьть грызла. Шла смертельная, непримиримая борьба, кто из них сильнее. Голод растет, совесьть изнемогает. И так день за днем. Голод понятно, но на чем же держалась совесьть, откуда она берет силы, что заставляет ее твердить вновь и вновь: нельзя, остановись?!

Единственное, что приходит в голову: она есть божественное начало, которое дано человеку. Она как бы представитель Бога, его судия, его надзор, то, что дается человеку свыше, его дар, что может возрасти, а может и погибнуть.

Она не ошибается.

Для нее нет проблемы выбора.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Она не взвешивает, не рассчитывает, не заботится о выгоде.

Может, только согласие с совестью дает удовлетворение в итоге этой жизни.

Ведь чего-то мы боимся, когда поступаем плохо, кого-то обижаем, не по себе становится, если обманем, сойдем. Словно кто-то узнает. Совесть сидит в нас, словно соглядатай, судит плохо, брат, поступил.

Мартин Лютер, самый решительный теолог, заявлял, что совесть – глас Божий в сознании человека. Глас этот звучит одинаково для всех, и католиков, и православных. Может, и вправду совесть досталась нам от первородного греха, от Адама?

Совестью обладает только человек, ее нельзя требовать от народа, государства.

В доме престарелых Степан Лаврентьевич, мой старый знакомец по «Ленэнерго», откровенничал. Мы с ним выпили совсем немного, по немощи и возрасту, ему хватило, чтобы закуражиться.

– Ты думаешь, стариковская жизнь – пожрать, поспать у телевизора, отосраться... Старость зачем нам дана, зачем? Вот я, к примеру, установил, что злодеи, они были долгожители. Если их не приканчивали. Посмотри, наши вожди последнего выпуска: Ворошилов или, допустим, Молотов, Каганович – это же патриархат, мать его дери. Все старперы, под себя ходили, все кряхтели, упирались, ждали, не повернется ли на прежнее. Я так думаю, что Господь наказывает долгой жизнью. Наказывает! Чтобы человек вспомнить мог свои безобразия.

И дальше пошел тяжелый рассказ Лаврентьевича про свой грех перед покойной женой, как она лежала полтора года после инсульта, а он гулял, пил, блудил со всякой швалью, имена перечислял, результат вспоминательной работы, говорил спокойно, но пальцем помахивал, перечисляя, только вот слезы скатывались медленно, невпопад.

Если забыть, что было со страной, что творили с людьми, – значит утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной, безвыходной.

Совесть существует, это реальность сознания, это принадлежность души и у верующих, и у неверующих. Совесть была во все времена.

С вопросом о совести я подступался к самым разным людям – психологам, философам, историкам, писателям...

Их ответы меня не устраивали. Удивлялись тому, что после всех потрясений, когда перед народом открылась ложь прежнего режима, ужасы ГУЛАГа, преступления властей, никто не усовестился. Ни те, кто отправлял на казнь заведомо невиновных, ни доносчики, ни лагерные надзиратели. Их ведь было много, ох как много, кто «исполнял». Старались забыть. И новые власти всячески способствовали скорейшему забвению.

Подобные рассуждения, однако, не проясняли проблем совести. Для меня самыми интересными оказались разговоры с адвокатами, перед этой профессией часто открываются муки совести. Или наоборот – маски бессовестной души. Меня заинтересовала твердая убежденность одного блестящего адвоката, умницы, человека наблюдательного. Он верил, что совесть – чувство врожденное. Либо оно есть, либо его нет. Существует как бы ген совести. В одной и той же семье один ребенок порядочный, совестливый, стыдится своих проступков, другому хоть бы что – и соврет, и украдет, и обманет. Соглашаться с ним не хотелось. Если врожденное, то обделенный не виноват, что с него взять. И в то же время случаи, приведенные им, были неопровержимы.

«Почему так жестоко пьют у нас?» – спрашивал он меня. Он считал, из-за совести. Заглушить ее, избавиться от проклятых воспоминаний. Грехов накопилось множество. То, что творилось в стране, и то зло, что творили, – даром не проходит, оно сказывается и вот таким образом.

Все же мне не хочется считать бессовестность врожденным пороком. Патология,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
наверное, бывает, но чаще я видел, как цинизм разрушал человеческие души. А еще у самого хорошего человека бывают причины, которые его вынуждают согнуться, промолчать, – его дело, его семья, да мало ли что. Несчастлива страна, говорил Брехт, которая должна иметь героев.

Апостол Петр, о котором думал студент в рассказе Чехова, не был героем, но совесть мучала его, он казнил себя, он плакал, и эти слезы, спустя тысячи лет, заставляют плакать и ощущать свою душу.

Выступление Хрущева на XX съезде было для меня первым благородным поступком советского руководителя за всю историю СССР. Другого я не знаю. Кто из них совершил что-то мужественное, милосердное, кого-то спас, защитил? Кто? Было ли что подобное?

Большая часть нашего студенческого времени уходила на изучение философии, вернее, ее истории, где один философ опровергал другого, каждый был убедителен, мудр, мыслил неожиданно. Затем математика – тонкие математические приемы. Химические превращения формул. Было множество предметов, которые могли пригодиться, но никогда тому не выпадало случая. Однажды я спросил начальника КБ, приходилось ли ему пользоваться «косинусом». Пожевав губами, начальник, ему было за 50 лет, нарисовал треугольник, почеркал его, вспоминая. «Пожалуй, ни разу», – признался он.

Считалось, что все это нужно для общего развития, но с большим успехом можно было разгадывать ребусы, решать шахматные задачи, головоломки.

Маркс был прав – коммунизм действительно оказался призраком. Слава богу, что он перестал бродить по Европе.

Нет такой цели, которая бы оправдывала любые средства. Во имя морали Н. стоял на этом, зная, что обычно средства становятся целью.

Всю жизнь мы строили вавилонскую башню. И вот она рухнула, а жизнь-то ушла.

В соседней роте в плен попал немец-парикмахер. Заставили стричь всех, наш старшина выторговал его к нам на сутки.

Вновь и вновь не дает мне покоя история, которую я уже после книги «Зубр» узнал от подруг Елены Александровны, жены Николая Владимировича.

Узнал, что в 1942 году не кто-то, а профессор Халерфорден, гистолог, приехал к Тимофеевым в Бух из Далема и вел переговоры насчет их сына Фомы. Гестапо посадило его в концлагерь. Приезжий предлагал Николаю Владимировичу заняться исследованиями о цыганах, расовыми исследованиями, то есть провести некоторые опыты над ними. Если Николай Владимирович согласится, то Гестапо может облегчить участь Фомы. Николай Владимирович сутки обдумывал предложение, он не нашел в себе силы сразу отказаться, он советовался с Еленой Александровной. Всю ночь они не спали, ни с кем не виделись, сидели друг перед другом, думали. Через сутки Николай Владимирович все же отказал. Много лет спустя Елена Александровна рассказала об этом Кузнецовой, рассказала, как они сидели за столом и говорили, что же скажет Фома, если его освободят и он узнает, какой ценой, как они будут потом жить с Фомой, как будет сам Фома жить потом?

Фома погиб. Всю жизнь Елена Александровна и он мучили себя за эту гибель, за свое решение, считая себя виноватыми. Их мучило, что они оставили себя как бы чистенькими, но какая же это чистота, если из-за них погиб сын! Это те безвыходные, ужасные ситуации, которых напрасно избегает литература, а жизнь то и дело упирается в них.

На голых, холодных скалах точных наук никакой нравственности не вырастить. Там можно возводить такие же каменные замки и крепости завоевателей космоса или

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
атомного ядра. Душе это ничего не даст, не прибавится счастья, доброты, не убавится зла. Прибавляются страхи войны и тоска от новых таинственных сил. Культура отчасти измеряется уровнем доброты, а величие государства – уровнем счастья его народа. И то и другое не связано с наукой.

Авторитет ученого складывается не только из его достижений, открытий. Есть и такая вещь, как демократия. Поучительна история, которая произошла у биолога Владимира Яковлевича Александрова.

Объявилась в его лаборатории девица, несогласная с шефом, стала делать по-своему, доказывать, что при таких-то температурах высшие и низшие растения ведут себя одинаково. Ее опыты оспаривали, считали, что не ей опровергать шефа. Предлагали шефу ее изгнать и восстановить дружескую обстановку в лаборатории. Владимир Яковлевич решил иначе – он собрал семинар по обсуждению ее данных. Три дня судили-рядили и убедились, что она права. Она и шеф вместе написали статью, где Владимир Яковлевич признавал свои ошибки.

На ближайшей школе ему один из сотрудников заявил: в запрошлом году вы нам докладывали совсем другое!

– Вы мне польстили, – ответил ему Александров. – За два года мы много сделали и могли полностью изменить свои взгляды. Наука, если она подлинная, стареет, и в период подъема – быстро. Не стареет только лженаука.

Известна фраза Николая Ивановича Вавилова: «На костер взойдем, гореть будем, но от своих взглядов не отступимся». И взшел бы, и можно считать, что он взшел, потому что, будучи в тюрьме, под следствием, где его пытали, не писал покаянных писем.

Но люди, знавшие Трофима Лысенко, говорили мне, что и он взшел бы на костер, защищая свою «науку», свои абсурдные идеи. В утверждении их он был неистов.

ДЕРЕВО

Приехав в Кневицы, я не нашел ни нашего дома, ни домов соседей. Война все снесла, мир все отстроил заново. Было одно дерево, по расположению оно казалось мне вроде бы то, что стояло перед нашим домом. Да и относительно железной дороги вроде бы оно, если считать, что пути железнодорожные не переносили. Но уж больно оно разлапистое, раскоряченное. Может, конечно, внутри этой старой липы есть то молодое деревцо, что стояло под нашими окнами, так разве узнаешь. Так и Кневицы. Они внутри меня хранятся, круги детства, как годовые кольца. У дерева оно всегда внутри, его прошлое, оно составляет ствол, новое нарастает вокруг, а того, молодого, никак не увидеть. И мне теперь тоже не увидеть этих милых Кневиц, где прошло детство, полустанок, дощатая платформа, чайная...

То была другая страна, у нее были свои герои, свои враги, свои победы и поражения. Той страны больше не будет, история ее не написана, но она окончена. На ее землях появилась совсем новая страна, с новыми законами, новыми богами, новой географией, адресами, изменили свои названия города, а в городах – улицы. Население стало другим, остатки прежнего народа можно еще найти среди бомжей, на их лицах печать робости, приниженности, они чужие в этой новой стране. Пенсионеры стоят в очередях перед дверьми собесов, пенсионных фондов, в аптеках за бесплатными лекарствами. Что они позволяют себе – безбоязненно поносят губернатора, министров и Президента. Никто теперь на это не обращает внимания.

После смерти художника Кончева выяснилось, что он втайне иллюстрировал Библию, дивные рисунки, ничего общего с его плакатами, и еще сделал несколько икон.

Мы сами чуть ли не семьдесят лет устанавливали культ терроризма. Героизировали наших русских террористов. Улицы в центре Питера называли в их честь – улицы Каляева, Желябова, Халтурина, Веры Засулич, Софьи Перовской. В школах изучали их «подвиги», как они убивали губернаторов, великих князей, царей. Писали о них книги, я сам договаривался с издательством «Молодая гвардия» написать книгу о Кибальчиче. Еще бы – изобретатель, сделал проект реактивного двигателя для

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru полетов! И динамитную мастерскую для убийства Александра II. Его именем назвали кратер на Луне. (Хорошо, что хотя бы на обратной стороне Луны.) Как он мне нравился! Над тем, какой смысл имеют их покушения, убийства, я не задумывался.

Историки мотивируют их действия безвыходностью, мол, им не давали прав легально действовать, выступать. Возможно. Однако все равно убийства, взрывы, террор в любых условиях не вызывают сочувствия.

В апреле месяце всегда есть несколько дней, когда по Финскому заливу можно ходить без рубашки, залив еще подо льдом и тянется до горизонта, лыжи разбегаются во все стороны, сахарятся, подтаивают, лучше всего идти по целине. Мы ходили на лыжах, загорая, шли далеко, доходили до рыбаков, они сидят целый день на деревянных ящиках, ловят корюшку. Когда идешь туда, спина в тени, мерзнет, а груди жарко, постоишь – лыжи липнут, снег все время чуть подтаивает, но нет ничего счастливее этих нескольких солнечных зимне-летних дней.

Когда чествовали знаменитого физика лорда Кельвина, он ответил признанием, что всю его работу за пятьдесят пять лет можно было бы определить одним словом «неудачи», то есть именно они не давали ему покоя.

В далекой-далекой от нас деревне молилась учительница: «Господь! Ты, учивший нас, прости, что я учу, что ношу звание учителя, которое носил Ты сам на земле, дай мне единственную любовь – любовь к моей школе, пусть даже чары красоты не смогут похитить мою единственную привязанность.

Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей, дай мне превратить одну из моих девочек в мой совершенный стих и оставить в ее душе мою самую проникновенную мелодию в то время, когда мои губы уже не будут петь...

Озари мою народную школу тем же сиянием, которое расцвело над хороводом Твоих босых детей».

Эту молитву приносила учительница маленькой деревенской школы в Чили, на берегу Тихого океана, много позже она получила как поэт Нобелевскую премию, поэтому и стала известна ее молитва. Многие другие учителя или учительницы безмолвно молятся теми же словами, они хотят, чтоб их слова проникли в души детей, что становится все более и более непросто. Конечно, редко к учителю приходит такое уважение, признание, какое пришло к этой учительнице, которую мы знаем под именем Габриела Мистраль. Профессия учителя, неверное, более трудная и сложная, чем профессия врача, врачу помогают лекарства, помогают законы медицины, общие законы для всех организмов, несмотря на их индивидуальность. Для учителя этих законов почти нет, он должен вслепую нащупывать, определять свой путь к душе класса и к душе учеников, к каждому ученику. Класс, он тоже имеет свою личную неповторимость, свой характер, свою физиономию. Но самое трудное – добраться до школьника, до этого маленького человека, и тем более подростка. Мы все признаем, что профессия учителя трудна и ответственна, но до сих пор учитель в нашей стране наименее почитаемая, может быть, самая невыгодная работа.

«Партийная собственность не наворована, она складывалась десятилетиями за счет взносов», – убеждали нас.

Почему не наворована? Именно наворована. К примеру: партийное издательство «Лениздат» всегда бессовестно обкрадывало писателей. Огромные доходы от продажи книг (а гонорар-то крохотный, а бумага по льготной цене, а работягам в типографии – копейки) шли в партийную кассу. За счет этого жили и райкомы, и горкомы, не считая других источников, катались на машинах, имели пайки, особые санатории, клиники, пошивочные ателье, все у них было особое. Общим с нами были только вода из водопровода да электричество. А что имел от своих взносов рядовой коммунист? Ничего. Он платил эти подати до конца своих дней, его постоянно проверяли, не утаил ли он какого-то приработка. На нас, писателей, в райкоме работал специальный инструктор, он запрашивал все журналы, газеты СССР, театры, киностудии, издательства – посылал им списки писателей, выявлял, кто обманывает партию. Выявит – и начинается проработка в назидание всем остальным.

В Эрмитаже выставка Пикассо. И мечтать не могли. Залы полны молодежи. Душно, шумно, как на премьере в фойе. Наверняка Эрмитаж еще не видел такого разгоряченного зрителя. Выставка уже пятый день, толпа спорщиков не убывает.

Студенты, офицеры, доценты, врачи – публика самая пестрая.

- Пикассо гений!
- Пикассо псих!
- Нет, вы скажите, вы можете мне объяснить, что тут нарисовано?
- Искусство нельзя объяснить.
- Но понимать-то надо.
- Каждый вкладывает свое, как в музыке.
- Во всяком случае это интересно.
- Это заставляет думать.
- Это распад искусства.
- Правду писали, что Запад гниет.
- К Пикассо надо привыкнуть, надо подняться от нашего соцреализма.
- Приведите сюда колхозника, разве он что-нибудь поймет?

Спорить конкретно не умеют, кричат, переходят на оскорбления:

- Глупости вы говорите, а еще интеллигент.
- Все ваши Шишкины и Айвазовские – это старье, для пивных.
- Искусство должно быть народным, не для вас, ученых.
- Это художник будущего. Шишкина в кладовку.

И так до вечера. Но слушать весело, приятно. Вместо книги отзывов – ящик, куда опускают записки. Кто-то прикалывает к стене.

«Чувствую себя как на корабле – качает и бежать некуда».

Под этой запиской ответ:

«Беги на выставку А. Герасимова».

«Разговорились! Я бы вас за такие разговорчики... И. Сталин».

Спустя два дня вызвали нас в горком – «О воспитательной работе с молодежью».

Выступил секретарь парткома Электротехнического института. Возмущался, что на выставку ленинградских художников работы поступают без отбора. Возмущался выставкой Пикассо, что студенты читают Библию, роман «Не хлебом единым».

Это человек, который ежедневно среди молодежи. Неудивительно, что партия рухнула. Ничего не понимала, не слышала, не видела. Если не славят, значит, не те люди. А почему не славят? Почему? Что происходит?

ХРУЩЕВ

Он любил часто собирать писателей и произносить речи. Отбросит заготовки, и начинается душеизвержение. Чего только не вытащит, не остановишь, полный хаос, но при этом себя не выдает, себя охраняет, ни в чем ни разу не повинился, а уж

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
как, казалось бы, раздухарился, в какие только дебри не залезал, а вот звериный инстинкт опасности держал его крепко.

Из всех его выступлений составить что-то цельное невозможно, мне казалось, что и записать-то не мог, а нет, нашел в стареньких блокнотах что-то торопливое, бессвязное, думаю, что ничего другого, годного для печати, не найти, нигде эти его выступления не публиковались.

Попробую из того, что вываливал на нас, извлечь какие-то смыслы. Чаще всего он возвращался к теме культа, к личности Сталина.

«События, связанные со смертью Сталина, были потрясением. Мы по-детски плакали у гроба Сталина. Что ж, по-вашему, мы были тогда неискренни? А потом вдруг стали плевать на Сталина? Наверное, больше всех пострадали – писатели. Затем художники, музыканты. Пострадали те, кто писал, кто был ближе всего к Сталину, к ЦК партии.

Этих людей теперь называют лакировщиками, а они хотели показать успехи партии. Выгоднее всего оказалось тем, кто шипел.

Что мы, руководители, должны открыть огонь по своим друзьям?

Лакировщики – это наши люди! Я не осуждаю тех, кто воспевал Сталина. Мы тоже говорили речи, воспевая Сталина. Кто же сейчас нам ближе всех? Лакировщики! У них нет других путей».

(Психологически он был прав. На кого ему опереться? Если на нас, так ведь завтра мы спросим: а что вы делали в 37-м году? А почему вы молчали?)

«Грибачев прав, сплачивать надо на принципиальной основе.

Берия был виновник гибели таких людей, как Вознесенский, Кузнецов. Враги надеются, что ЦК осудил Сталина и события пойдут по другому пути, что интеллигенция не потерпит партийного руководства».

«Мы Сталина осуждали за то, что он стрелял по своим».

«То, что написано с хорошим сердцем о Сталине, не вычеркивается. Я Сталина осуждаю и уважаю, а что же мы напрасно трудились, не считаясь с силами.

Я хорошо знал Чубаря, Постышева – их гибель вина Берии».

«Я знал Ежова, это был замечательный пролетарий, а сделали из него преступника».

Тут Шагинян что-то выкрикнула, она часто прерывала Хрущева. И Хрущев обратился к Микояну: «Уйми свою Шагинян!»

«К Сталинским премиям надо относиться с гордостью».

«Он чудил старческим чудачеством».

«У Дудинцева есть сильные места, правдивые о бюрократах. Я критикую его, чтобы устранить недостатки. Дудинцев стал героем врагов Советского Союза».

«Мы не должны давать в обиду Грибачева и Бабаевского».

«„Я никому не верю, я сам себе не верю, я пропащий человек“, – говорил Сталин».

«Больше 100 человек было задушено на похоронах Сталина (?)».

«Борьба с зиновьевцами, троцкистами, бухаринцами – правильна. Что, у нас не было врагов?»

«Умер Берут – развалилось польское руководство».

«Троечку писателей посадить – и все вышло бы».

«Борьба должна быть беспощадной. Своими средствами. Хорошо, если бы вы сами

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
вмешались, не бросайте это на плечи ЦК».

«Что значит отказаться от партруководства? Меня партия нигде не жмет».

«Впервые правительство не обсуждало, как подбросить масло к 1 Мая».

«Это и есть идеология. Если б мы дали сегодня рабочему столько мяса и молока, сколько имеют в США, то идейные вопросы решались бы легче. Дайте к марксистско-ленинской теории побольше мяса, овощей, масла, то за эту теорию и дурак проголосует».

«Буржуазные корреспонденты хотят унижить советское искусство.

(Велел принести скульптуры Э. Неизвестного.)

Неужели с этим мы пойдем к коммунизму? Какой дурак пойдет под этим знаменем? Что это за связь с народом?»

«Сталин нарушил свое обещание партии. Партия это осуждает и отдает должное заслугам Сталина». «Он был глубоко больным человеком. Таких дел, как с Якиром, было бы больше, если бы все соглашались со Сталиным. Московское дело готовили (Попов, секретарь Московского ГК)».

«Микоян, – вдруг спросил меня Сталин, – почему он здесь живет?»

«Приглашает приехать. Он скучал. Я остался. Наутро он руки не подал. „Вас кто просил?“

Уехать – врагом буду. Погулял. Возвращаюсь: „Ну как, Микита? Может, рыбу ловить поедем?“ Сумасшедший на троне. „Мне надо в отставку“. Все видели, что это провокация. Спрашивает: „Как пролез в Политбюро Ворошилов?“».

«Давай Попова уберем из Москвы, чтобы не погиб» – и такое было.

Зная болезненную мнительность, разговоры подбрасывали.

«Сталин хотел расправиться с интеллигенцией Украины. Каганович вызвал писателя А. Малышко – видно было, петля затягивалась».

«Берия рвался к власти. Это была угроза».

«Давайте будем снисходительны, не отсекайте молодых, а привлекать».

«Дорожите доверием масс, не ищите дешевой популярности, не подлаживайтесь. Одни вас хвалят, другие ругают, выбирайте, что для вас лучше подходит».

«Песни братьев Покрас хорошие, песни об армии Буденного – тоже... Мое восприятие жизни должно быть нормой для всех. Каждый народ имеет свои традиции...»

Пропускаю набор подобных истин. Упомянул он «заметки Виктора Некрасова, фильм Хуциева» – неодобрительно, думается, все это с подачи Ильичева.

Вытащил на трибуну Андрея Вознесенского, стал кричать на него: «Получайте паспорт и уезжайте! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов!»

Вдруг он ткнул пальцем в зал:

– Кто там в очках уткнулся? – и потребовал на трибуну. Это был молодой художник Голицын.

Обрушился на него.

Сперва я думал, что его раздражала красная рубашка Голицына, но потом понял, что это была наводка Ильичева, и на других тоже он наводил.

В зале царил шабаш, бесновались, вопили, распяляли Хрущева сталинисты типа Ванды Василевской, ее супруга Корнейчука, писателя Кочетова, художника Налбандяна, поэта Василия Смирнова, писателя Турсун-Заде. Рвались на трибуну доказать свою

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
преданность ЦК, подкинуть хворосту. Как правило, то были прежде всего писатели, художники, ущемленные своей посредственностью.

Когда Хрущев, Ильичев вызвали на трибуну Вознесенского, Аксенова, Голицына, те как-то пытались оправдаться, Хрущев не слушал их, грубо прерывал.

Вознесенский попробовал читать стихи о Ленине, показывая свою советскость. Хрущев закричал:

– Вам поможет только скромность, думаете, что вы гении, хотите указать путь человечеству, сразу руку вперед.. Вы берете Ленина, не понимая его.

На какой-то фразе он опять взорвался:

– Вы все время чувствуете, что вы в коротких панталонах, а вы уже в штанах. Паспорт в зубы и уезжайте!

Зал с радостью аплодировал. Уезжайте – это было как раз то, о чем мечтала вся свора. О, если бы все талантливое, мыслящее уехало, остались бы они и очутились бы в первых рядах!

Голицын: «Отец у меня реабилитирован».

Аксенов стал говорить о том, что «мы хотим служить родине».

– Какой родине? – закричал Хрущев. – То же говорили Пастернак и Шувальгин. Вы чей хлеб едите?

Он, Хрущев, наверно, искренне был уверен, что государство кормит писателей, что писатели, художники существуют за счет народа. На самом же деле шла совершенно бессовестная эксплуатация тех же писателей. Книги Василия Аксенова – «Коллеги», «Апельсины из Марокко», его рассказы издавались сотысячными тиражами, одна за другой, а издательства (государственные!) платили гроши, на всех читаемых писателей государство зарабатывало огромные деньги, и сам Хрущев и все его «соратники» существовали, в частности, за счет писателей, поэтов, так что хлеб мы ели свой, художники зарабатывали его своим трудом и содержали еще партийных и прочих нахлебников.

Кочетов: «Молодые хотят захватить эту трибуну, они стесняются произносить слова „социалистический реализм“».

Василий Смирнов:

– Они прорабатывали Кочетова. Мы там в меньшинстве.

И все это с надрывом, мол, «спасите нас, ваших верных солдат».

Хрущев: «Хотите восстановить молодежь против старшего поколения? Не выйдет! Раздуваете, не случайно в Ленинграде поставили „Горе от ума“. Да с таким эпиграфом!»

Он имел в виду постановку Г. Товстоногова с эпиграфом от Пушкина: «Черт меня дернул родиться в России с душой и талантом».

Всякий раз, когда Хрущев собирал нас, писателей, он возвращался к Сталину. Личность Сталина мучила его, не давала покоя. Не верил, что освободился от многолетней тирании вождя, от кошмарных страхов, но стоило начать перечеркивать Сталина, как оказывалось, что он порочит и себя, тень падала на его собственную персону, страдало его самоуважение, кем же он был при Сталине? Шутом? Подпевалой?

Он барахтался в этих силках, не в силах оттуда выбраться.

«Почему при жизни Сталина не были вскрыты нарушения и можно ли было это сделать тогда?.. Да, руководящие кадры знали об арестах, но они верили Сталину и не допускали мысли о том, что аресты могут быть незаконны».

Лукавит, а то и просто врет, он-то отлично знал о невинности Постышева, Коссиора и других.

В другой раз:

«Мы против того, чтобы все чернить, связанное с деятельностью Сталина, – вспомните индустриализацию, коллективизацию».

«Мы стосковались по ленинскому руководству».

«Борьбу с антикоммунизмом должны вести русские, борьбу с сионизмом должны вести евреи».

«Настоящих великодержавных шовинистов и националистов надо исключать из партии».

«Евтушенко осуждаем за то, что сионисты облепили его. Лесть – самый опасный яд. Вы поддались на лесть, Евтушенко, мы вас журим, не ругаем. Дмитрий Шостакович написал, конечно, хорошую музыку (13-я симфония), но можно было бы найти другую тему. С 1917 года у нас евреи в равном положении со всеми».

Врал привычно, как при Сталине, так положено им всем было говорить.

Был объявлен перерыв. Мы вышли на лестницу покурить. Евтушенко, Аксенов, Твардовский, Голицын, Роберт Рождественский. Молчим, подавленные погромом, хамством, злобой. И тут вдруг Александр Трифонович Твардовский без тени улыбки, скучающе спрашивает:

– Ну, ребята, что новенького?

Получалась у него чудовищная смесь брани, угроз и в то же время заносчивых оправданий, порой исповедальных. Все это перемежалось привычкой грубо одергивать, перебивать выступающих своими поправками, сентенциями, иногда его вставки превращались в целое выступление. Как ни странно, при всем хамстве, примитивности слушать его было интересно. В нем была горячность человека, получившего наконец возможность выговориться свободно, он отбрасывал приготовленные ему тексты и шпарил как бог на душу положит.

Ильичев говорит о поисках верных партийных средств изображения, Хрущев прерывает его:

– Не они ищут, а их уже нашли и потащили за собой чуждые нам идеологии. По-вашему, наступила пора безнаказанного своеволия?

И пошел, пошел.

– Если бы их (то есть нас) было бы большинство, в бараний рог они бы нас согнули.

И вдруг каким-то образом он выскочил на антисемитизм, на погромы, он видел их, как шахтеры были против погромов, как он работал помощником мастера литейщика, а мастер был еврей. «Надо оценивать поступки людей не с национальной, а с классовой точки зрения».

«В Бабьем Яре погибли и русские. Кого больше? Если мы будем этим заниматься, то породим рознь».

Он никак не хотел признать, что нацисты умышленно уничтожали евреев, он как бы исключал расовую политику.

Утверждал безапелляционно:

«Нет сейчас и не было (!) антисемитизма. Не вызывайте к жизни эту замороженную бациллу».

И тут же попрекнул Шостаковича за 13-ю симфонию на тему Бабьего Яра:

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
«Полезно это или нет, может быть, это даст пищу антисемитизму?»

Как они, все наши вожди, уже после «дела врачей», казалось бы, очевидного преступного замысла, вместо того чтобы в полный голос назвать действия Сталина антисемитскими, а развязанную кампанию – позорной, все они уваливали и так и этак от проблемы антисемитизма в России.

«Нельзя допустить, чтобы борьба с культом ослабила нашу борьбу за марксистско-ленинскую линию, не резать сук, на котором сидим».

Что за сук он имел в виду, неясно. Впрочем, деятели вроде Грибачева, Серебровской немедленно растолковали по-своему – хватит, довольно ваших «оттепелей», довольно заискивать перед молодыми.

В другой раз во время выступления Евтушенко произошел любопытный казус. Евтушенко стал защищать Эрнста Неизвестного: он фронтовик, хорошо воевал, он талантливый скульптор, он всей душой советский человек и т. д.

Хрущев прерывает его:

– Горбатого могила исправит!

Евтушенко взорвался:

– Сколько можно исправлять могилами! Хватит!

Меня это восхитило – одернуть генерального секретаря компартии, да еще прилюдно, в зале заседаний, в обстановке проработки, – это было поступком!

Тут же выступил поэт Александр Прокофьев, наш ленинградец, возмутился тем, что позволяет себе Евтушенко, как можно таким тоном разговаривать с генеральным секретарем, да кто он такой, да что он себе позволяет...

Хрущев встrepенулcя, удивленно спросил: а что, собственно, случилось, идет нормальное обсуждение, каждый высказывается.

Это был ловкий, можно сказать, мудрый ход: поскольку он сразу на слова Евтушенко не сумел возразить, лучше всего было дать понять, что все говорят свободно. Да и чем он мог отпарировать точную реплику Евтушенко. Хрущев был остроумен, находчив, был хороший полемист, и тут, надо признать, он сумел выйти из положения.

Обозначился довольно четкий раздел молодых и немолодых. Аксенов, Вознесенский, Евтушенко, Голицын, Неизвестный – все они забирали себе читателей, зрителей, славу, им помогала, их воодушевляла борьба с культом личности, XX съезд, то есть то, что начал Хрущев, и получалось, что он же громил их.

Напугали кремлевскую публику венгерские события. Сталинисты тотчас связали их с молодыми писателями, поэтами, творческой интеллигенцией – вот откуда идет крамола. Затрубили горнисты, забили барабаны, и пошла расправа со своими соперниками, противниками, со всем новым, от чего так надежно защищал их прежний режим сталинской идеологии.

Такой художник, как Владимир Серов, мог заявить Хрущеву, что абстракционизм – это идеологически враждебное направление, оно угрожает советскому строю, что картины фалька были выставлены в Манеже не случайно, ох не случайно: специально показать – вот, мол, где столбовая дорога нашего искусства.

Еще две цитатные записи сохранились:

«Возможны ошибки в будущем, ну и что же? Не управлять – это будет джаз».

«Живи и давай жить другим – это я не признаю. Вы бы нас не пригласили на это заседание, а мы вас пригласили».

Про джаз он часто повторял: «Джаз колики у меня вызывал».

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
И раздавался услужливый смех.

«А вот Глинка – слезы радости». И в ответ усиленно кивали. Была категория кивальщиков, кивали напоказ, преданно, чтобы генсек увидел.

«Джаз – негры изобрели. А я родился в русской деревне. Почему мы должны брать на вооружение джаз?»

Историк Сергей Мироненко, ведая государственным архивом России, ни на одной из правительственных бумаг не видел собственноручной резолюции Хрущева, ни одного письма, им написанного, ни конспекта, ни-че-го. Только подписи. Все остальное диктовал своим помощникам. У Мироненко сложилось мнение, что Хрущев был безграмотен. Забавно, но безграмотность, возможно, придавала ему решимости, наглости. В природном уме, юморе ему не откажешь. Ленина не изучал, Сталина тоже. Несколько заученных цитат, остальное смекалка. В русской истории его можно сравнить с Меншиковым, тоже, видимо, малограмотным. Меншиков был умница, смельчак, и Никита Хрущев тоже ведь отчаянный, сместить Берию в те времена, поставить его к стенке – тут либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

Опытный интриган Лаврентий Берия, который пятнадцать лет удерживался на вершинах в репрессивных органах, не мог представить, что этот простачок-мужичок сумеет обольстить Маленкова, напугать остальных бериевскими компроматами и без суда, без следствия, примитивным способом с помощью трех генералов схватить, связать, запихать в машину, сунуть в подвал всесильного чекиста.

Конечно, им приходится заботиться о нашем здоровье, правда, сами они лежат в отдельных палатах, а мы в общих или в коридорах. Хорошо, что они вообще не отказались от нас, на самом деле чувствуется, что мы, то есть народ, им не нужны. У них есть труба, есть газ, есть лес, достаточно для благоденствия, а с этим народом хлопот не оберешься.

Рассказал он мне про Кастаки, крупнейший московский коллекционер, тоже обокрали. Украли у него Малевича, Кандинского, украл бывший зять, работник органов. Кастаки туда пришел, ему обещали выяснить. Через несколько дней сказали, что зять женился на англичанке и уехал в Англию. И все. Кастаки тоже собрался и уехал. Разрешили ему вывезти 20 % коллекции, остальное вынужден был отдать в Третьяковку, попросил сделать зал Кастаки, обещали, но пока не собираются.

Чудновский сказал мне: «Бросил я собирать, отбили охоту, зачем, весь интерес пропал».

Лженаука не так плоха, как кажется. Во-первых, она обходится дешевле, чем традиционная наука, не требует больших затрат, установок, аппаратуры; во-вторых, она не стареет. Лженаука может существовать столетиями, поскольку она почти непроверяема. В конце концов, ничего страшного, она производит мечты, иллюзии, будущее. Я встречался с узким специалистом по лженауке, его специальностью были привидения. Но вообще лженаука необозрима: уфология, инопланетяне, спиритизм...

В 1923 году Есенин писал Кусикову с парохода, плывущего из Америки в Европу: «Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая, внешне типом сплошное Баку... Сандро, Сандро! Тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется... Уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним... Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской...»

ПОСТУПКИ ЛЮБВИ

С большинством знакомых людей я не помню как познакомился, при каких обстоятельствах. А вот с Лидией Николаевной помню. Обстоятельства были особые.

Я впервые приехал в Париж. Это было в 1956 году.

Тогда принято было писать: «мы приехали», «мы посетили». Наш традиционный коллективизм. Всегда вместе, организованно – и за грибами, и в Париж. То был один из самых первых рейсов – круиз! – вокруг Европы. В том числе Марсель и поездом в Париж на три дня. В Париже, конечно, Лувр. Паустовский предложил мне и Леониду Николаевичу Рахманову ограничиться минимумом. Вместо того чтобы стараться обежать тысячи картин и скульптур, осмотреть в Лувре три вещи: Венеру, Нику и Джоконду. К тому времени лично меня уже подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных шедевров, уникальных фресок, гобеленов, росписей, от множества величайших, гениальных, всемирно известных. Предложение Константина Георгиевича мы приняли охотно. Постояли перед Никой Самофракийской, перед Венерой, Джокондой. Перед каждой довольно долго. Это было трудно. Это было как бы погружение. Нелегкое, непривычное – погружение в красоту или в совершенство, не знаю, как назвать то, чему нет конца. Поначалу становится скучно, потом приходят всякие мысли, затем чувства, среди них почему-то грусть перед тем, чего до конца постичь невозможно; тем, что в моей жизни такого совершенства, такой красоты не встречалось. Или я прошел мимо, не заметив...

Перед Джокондой я уже не томился, а довольно быстро расчувствовался. Стоял, не замечая времени. Очнулся я, заметив, что Константин Георгиевич плачет. Мы переглянулись с Рахмановым. Деликатнейший Леонид Николаевич показал мне глазами: не надо обращать внимания. Заметив, как на Паустовского глазают, я все же тронул Паустовского за рукав. Мы вышли из Лувра, ни на что больше не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго молчали.

Тут к нам подошла Лидия Николаевна Делекторская. На самом деле не к нам, а к Паустовскому. Она видела его слезы и не вытерпела. Кажется, сама прослезилась. Она знала о приезде Паустовского в Париж. Она была давней его поклонницей. Романтика Паустовского всегда привлекала и будет привлекать читателей.

Лидия Николаевна села с нами, представилась. Была она с сестрой. Ее сестра Елена, фотограф и художница, сфотографировала нас. Они пригласили нас к себе. Жили обе в одном доме: Лидия выше этажом, Елена под ней. Мы провели прекрасных несколько часов. Прекрасных – потому что из вопросов-ответов узнали жизнь Лидии Николаевны. Главным в ее жизни, по крайней мере для меня, была дружба с Анри Матиссом. Много лет, вплоть до его смерти она была его секретарем, подругой, его любовью. Дочери русских белоэмигрантов, они с сестрой сумели стать русскими француженками. На стенах висели фотографии – Петербург, Харбин, Париж, Лидия Николаевна на них не менялась, была все так же хороша, как в юные годы. В 1940 году она уже работала у Анри Матисса. Все в ее облике привлекало ясностью. Она была именно хороша, почему-то не могу назвать ее красавицей, но Матисс рисовал ее с восхищением. В галерее его любовниц ей досталось место и помощницы, и, может быть, его последней привязанности.

О приезде теплохода с советскими туристами в Марсель, о посещении Парижа писали в газетах, тогда, в 1956 году, для Франции это было в диковину. В числе знатных пассажиров на первом месте упоминали Паустовского. У французов была своя табель о рангах. Лидия Николаевна дождалась нас у Лувра, и вместе с сестрой они шли за нами. Слезы Паустовского у Джоконды всё решили. После этого она подошла к нам.

Квартирка ее двухкомнатная, маленькая была увешана картинами и рисунками Матисса. В то время даже для меня, жильца коммуналки, эта квартирка показалась весьма и весьма скромной. И никак не вязалась с праздничной живописью Матисса, с этим ликованием красок.

Гений Матисса для меня бесспорен, очевиден, хотя это не мой художник. Однако там, в квартирке Лидии Николаевны, эти работы блистали, никакая другая роскошь рядом с ними была не нужна, просто не смотрелась бы.

После смерти Матисса ей достались эти и некоторые другие работы художника, его графика, его аппликации. Большую часть она подарила Музею имени Пушкина в Москве и Эрмитажу. Все вместе они составили целое состояние. Уже тогда Матисс ценился весьма высоко.

Вечером Паустовский сказал мне, что ее дар, картины, у нас вряд ли выставляется. Пока или еще. В те годы даже импрессионисты были заточены в наших запасниках. Матисса ожидала та же участь. Лидия Николаевна знала об этом.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Паустовский был блестящим рассказчиком, я имею в виду не только написанное им, но и его устные рассказы. Я мог слушать его часами, и он мог рассказывать часами. Из крохотной детали он выращивал «магический кристалл». Из рассказа Лидии Николаевны он создал прелестную повесть о любви великого художника и великой женщины, но, к сожалению, так и не написал ее. А я не посмел записать – не моя. Вся история, вернее, истории, связанные с Лидией Николаевной, принадлежали ему, а я был второстепенный персонаж, случайный свидетель.

Потом мы с Лидией Николаевной поехали на кладбище Св. Женевьевы. Позднее, бывая в Париже, я еще раз посетил с ней это кладбище, она там заранее купила место себе. Оба посещения для меня слились, расчленить их трудно. Здесь лежало много ее друзей, тех, о ком она знала и могла нам представить.

Был сентябрь, теплынь, цвели цветы, по песчаным дорожкам прогуливались пожилые пары, старики из русского пансионата, что был рядом.

Паустовский считал, что Лидия сперва полюбила Матисса как человека, потом как художника. У великих художников необъяснимая тяга к русским женщинам – Леже, Пикассо, Дали, Матисс. Для Матисса она была и секретарем, и натурой. Снова и снова он возвращался к ее образу, пытался узнать, добраться до тайны, ибо любящая женщина – это всегда тайна.

Для Паустовского история любви Лидии – это история любви и к Матиссу и любви к России. Изгнанная из нее, отверженная, она тем не менее отдала ей то, что могло обеспечить ей безбедную жизнь, более того – со всеми радостями комфорта. Не говоря уж о памяти – она же расстается с дорогими ей творениями, теми, что создавались у нее на глазах, теперь они будут спрятаны...

Она могла бы... мы выстроили несколько счастливых вариантов ее судьбы.

Мы хотели избавить ее от неблагодарности, оскорбительного пренебрежения наших партийных чинуш, для которых Матисс был чем-то враждебным.

Мы были правы – ей пришлось с этим столкнуться. Никто в те годы не рассыпался перед ней в благодарности, начальников не трогал ее бескорыстный ценный дар, он доставлял только лишние хлопоты: не принять нельзя, а принять и не выставить – вызвать разговоры.

Уроки прошлого, участь родителей, эмиграция ничему не научили ее.

Мы были правы, мы лучше нее знали нашу советскую действительность.

Но она была права иной, высшей правотой, она верила в непобедимую силу гения Анри Матисса, она знала про временность советского бескультурья, советской дикости, а может, и про временность советского режима.

С того парижского знакомства мы стали переписываться. Лидия приезжала в Ленинград. Встречи с ней были праздником. Она любила Питер. Она умела смотреть и видеть его.

Она помогла издать собрание сочинений Паустовского во Франции, сама перевела некоторые его вещи. Ее любовь была деятельной, у нее появилось много друзей в России. Она привлекала к себе душевностью и какой-то особой деликатной сердечностью. В ней соединялись русская интеллигентность и французская изысканность.

В нашу последнюю встречу в Москве она болела, но все равно удивила меня прочностью своей красоты. Она не старела. Каждый раз дарила мне новые монографии о Матиссе, его рисунки. У меня висит литография – ее портрет, рисованный Матиссом, – легкая безупречная линия создает черты лица задумчиво-счастливого, в нем нет, кажется, ничего особенного, за исключением одного: не хочется отрывать от него взгляда.

Я не был на ее могиле, не знаю, какой памятник там стоит. Память о ней хранится в Эрмитаже и в Музее имени Пушкина. Это самый прочный и самый посещаемый памятник. Так мудро и красиво распорядилась ее душа, заполненная любовью.

ПЕРЕХОД В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

Появилось молоко в картонных коробках, сметана «По рецептам царской Руси», магазины заполнены винами всех стран. Убирают из города трамваи, снимают полувековые слои асфальта, перед тем как положить новые, а то улицы постепенно погружались в асфальтовую толщу: обычно накатывали новый слой асфальта на старый, дома становились как бы меньше ростом. Миллионы машин заполнили город до отказа, всюду пробки. Валяются банки из-под пива, газетные киоски забиты глянцевыми журналами, нашими и заграничными.

Вывески по-английски, в лифте английские ругательства. Встречные на ходу прижимают к уху мобильники и говорят, говорят. В театрах, на концертах – всюду звонят мобильники. После долгого молчания страна разговорилась. По мобильникам и переписываются – посылают эсмэски, фотографируют что ни попадя. Окраины города застраиваются огромными супермаркетами. Дворы закрылись, ворота на кодовых замках. Повсюду остерегаются – кого? Воров, бандитов, «черножопых» – это повсеместное название «лиц кавказской национальности». Великое множество ресторанов, кафе, баров, они вполне респектабельные, есть шикарные, роскошные, открываются все новые и новые, по вечерам в них полно. Город пьет, жрет, пирует.

Мы не задавались вопросом, почему у нас так много выявляли шпионов, во всех городах, на всех крупных заводах, и в артелях, и в деревнях, и в министерствах. Вредителей еще больше, десятки, сотни тысяч, и ловили все новых. Как только капиталисты не разорятся содержать всю эту армию шпионов?

Откуда они берутся? Переходят границу? Сколько внутри КПСС врагов народа, и появляются все новые и новые. Проникают в Кремль. Может, они там возникают? Был нормальный человек, попал наверх и переродился, стал врагом народа?

– Ты идейный беспризорник.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

Шел спектакль Малого театра «Святая святых» Иона Друцэ.

Пожаловал со своей свитой Г. В. Романов, первый секретарь Ленинградского обкома, был такой. В театрах бывал редко, однако спектакль привезли из столицы, там он пользовался большим успехом. К тому же приезжие народные артисты персонально пригласили.

Идет действие. Актер в роли Льва Толстого в каком-то месте, по пьесе расстроенный, огорченный, произносит: «Русские дураки!»

И тут на весь зал раздается хмельной начальственный окрик Романова: «Нет, русские не дураки!» Шумно встает, выходит из ложи, за ним все его мюриды.

Одернул Льва Николаевича, не хуже Владимира Ильича, который тоже Льва Толстого ставил на место в своих статьях.

Как член Верховного Совета Романов награждал орденами. Однажды на церемонию пригласили меня. Вручение происходило в Малом зале Смольного. Первым был вызван я. Рукопожатие. Романов нацепил орден. Я произнес «Спасибо» и ничего более. «Что, не доволен? – сказал Романов. – Мало дали?» – «А я и не просил», – ответил я, вернулся на место. Следующему вручали художнику А. А. Мильникову. Тот тоже «спасибо», но уже горячо, и прочувствованно преподнес монографию о своем творчестве. Романов повертел ее, нахмурился: «Это на каком языке?» – «На английском», – гордо пояснил Мильников. Романов с размаху швырнул ее на пол.

На обратном пути я не преминул подколоть Мильникова: «На английском! Думал, его потрясет? А он тебе преподал патриотизм».

АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ МИНЦ

Камера на 20 человек, сидело 90. Китаец, прачка, сотрудник Иосифа Орбели, голландский коммерсант по лесу. Сделали минцу 120 часов допроса непрерывного, конвейер. Устроили Александру Львовичу Минцу очную ставку с Гуциным – шпион, завербован в Португалии. Тот вошел, несчастный, в глазах мука.

«Да, я знаю Гуцина как несгибаемого коммуниста, – сказал Минц, – кровь проливал на Гражданской войне, ничего не боялся, все, что он делал, подчинялось одному –

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
должно было идти на пользу стране».

И тут Гуцин заплакал.

Минца вызвал Берия:

– Вы строили радиостанцию Коминтерна?

– Я.

– А ВЦСПС?

– Я.

– А коротковолновую?

– Я.

– Какой же вы вредитель. Ах, Ежов, Ежов... Задание вам: создать радиостанции партизанские, даю три месяца.

– Нет, шесть месяцев!

«Тут на меня накинулся его подхалим Лапшин.

Я говорю:

– Неужели вы думаете, что мне хочется лишних три месяца сидеть и работать под вашим руководством?

Берия засмеялся:

– Да, это убедительный аргумент.

У Лапшина вареные белые глаза. Чем больше я работал, тем больше они получали орденов и тем крепче за меня держались, не выпускали».

Его не переубедить, он твердо знал, как все было:

«От Сталина скрывали, как насильно загоняли в колхозы, что творилось в деревнях. Когда он узнал, сразу написал статью „Головокружение от успехов“ и навел порядок. Ежов тоже обманывал Сталина, проводил незаконные репрессии. Как Сталин узнал, так снял Ежова, наказал его. Подчиненные просто держали его в неведении. Дезинформировали».

– Смысл жизни выяснится там... Господь знает, зачем ты жил.

– Если он знает, а я нет, то для меня она бессмысленна. И зачем мне, закончив жизнь, что-то потом узнать? Это точно подтверждает бессмысленность.

– Спор наш бесполезен, спор между верой и безверием ни к чему привести не может. Вера – основа всех религий, вера недоказуема. Вера, вот что интересно, она всегда не во зло, а в добро.

– А вот скажи мне, можно ли в своей молитве возноситься не только к Господу, но и к своей совести, просить ее уберечь тебя от плохих поступков, молиться о ее силе. Бессовестность всегда похожа на безбожие.

– Не знаю, можно ли молиться о своей совести.

КОМАРОВО

Комарово – совершенно уникальное место. В одном месте сошлись и Шостакович, и Соловьев-Седой, и Черкасов, и Евгений Лебедев, и Товстоногов, и Козинцев, и Лихачев, и Евгений Шварц, и Ахматова, и Жирмунский, и Бродский... Писатели, поэты, музыканты, артисты, художники, прославившие нашу культуру. Они жили здесь,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru приезжали сюда... Но это еще и ученые – Иоффе, Алферов, Линник, Фадеев, Горынин, Смирнов... Здесь не просто дачное место, Комарово связано с их биографией, с их творчеством, со всей их жизнью. И вдохновение, и утешение... Это место, где люди любили встречаться, дружили, общались, спорили...

Комарово – единственный своего рода заповедник, где собралось все лучшее, что было в Ленинграде, в его науке и культуре. Общение летнее. Зимой в городе общение другое, в городе время другое, забитое делами, расписаниями.

К нам много приезжало французских, китайских, американских писателей. Для них, конечно, финский залив обладал особой прелестью. Какая-то в нем есть домашность, он ручной, кроме того, он имеет историю. Выходишь где-то на берег Тихого океана, там истории мало. А финский залив историчен: Кронштадтское восстание, матросня, переход Ленина из Петербурга в Финляндию и обратно, бегство наших людей от революции, Вторая мировая...

Хорошо сидеть у залива... Хорошо ходить по лесу... Но если говорить о работе – это вещи необязательные. Для того чтобы работать, нет надобности попасть в какое-то любимое место. Это представление о работе не мое. Чтобы начать работать, для этого нужно просто намолить тишину и одиночество. Есть писатели, которые работают на ходу. А есть писатели, которым нужно одиночество, возможность сосредоточиться, не отвлекаться. У каждого свой процесс погружения.

Городская жизнь отделяет от природы. И это огорчительно. Лишиться природы как мира, в котором человек всего-навсего небольшой соучастник, – потеря. Даже если это как у Пруста, который вообще мало выходил из комнаты. Когда он пишет, для него даже шум за окном – воспоминание о запахах... Все восходит к природе, к общему миру, в котором живет человек. Иначе остается чисто мысленное прохождение жизни. Жизнь как продукт мысли, блекнущих воспоминаний...

Вот бабочка... Что такое бабочка? Два совершенно волшебных крыла, а посередине невыразительный червяк. Крылья бабочки – чудо по своему рисунку, по краскам, по гармонии. То, что между ними, никакой красоты не представляет. Такая гусеничка волосатая... Но сочетание – это тем более чудо. И тайна.

Когда живешь в городе – живешь как червяк. И этих двух крыльев – не ощущаешь.

Впервые я приехал сюда в начале 1950-х годов.

Дом творчества писателей располагался в старом деревянном доме, который при финнах был пансионатом. Красивый трехэтажный дом. Им управляла одна немка, она жила еще при финнах.

Мне, как молодому писателю, давали комнату на самой верхотуре – на третьем этаже, в башенке.

Дом творчества был своеобразен, он сохранял особенности пансионата. Столовая была во дворе, там, где и теперь. Она была деревянная. Посередине общий стол – большой, овальный, за которым все собирались на завтрак, обед и ужин. Завтракали и обедали наспех, потому что все-таки торопил рабочий день, а вот за ужином начинался треп. Старались прийти в одно время, слушали краснобаев – там сиживало немало остроумных, интересных людей.

В начале шестидесятых годов выделили несколько участков земли ленинградским писателям Эльмару Грину, Анатолию Чивилихину, Борису Мейлаху, Александру Черненко. В число прочих попал и я, поскольку был в то время автором романов «Искатели», «Иду на грозу».

Жена предложила потратить гонорар на дачу в Комарове. Построить дом – решение непростое, прежде всего психологически. Но, слава богу, она настояла, сама взялась за дело и соорудила из финского стандартного домика дачу с мансардой.

В Комарове жили тогда Володя Константинов и Боря Рацер, известные драматурги-комедиографы. Прибегал ко мне Володя: «Данила, дают арбузы» или «Дают виноград», приходил Евгений Лебедев и говорил: «Данила, пойдём промышлять», и мы шли промышлять в магазин. Женя был незаменим для добычи дефицитных продуктов. Мы

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru заходили прямиком в дирекцию, ничего не просили, достоинство мешало, Женя не ужался до просьб, они его просили, чтоб он принял, а Женя, он начинал рассказ, рассказы у него были бесконечны, торговля нарушалась, все продавцы старались прийти послушать. Великий артист, он к тому же был великий рассказчик. После того как мы посидим там минут сорок или час, нас спрашивают:

– Что бы вы хотели?

– А что у вас есть?

– Есть сгущенка.

– Ну давайте сгущенку.

Или:

– У нас есть бананы.

– Ну давайте бананы.

Мы брали машину, везли ящиками очередной дефицит.

Очереди выстраивались за арбузами, за дынями, за виноградом, за любыми фруктами. Очередь требовала выстаивания, очереди вообще составляли немалую часть советской жизни. В очереди происходил живой обмен информацией, обсуждалась жизнь страны. В Германии для этого имелись пивные, а у нас – очереди. Вышло постановление об инвалидах и ветеранах войны – инвалиды и ветераны войны имели право идти без очереди. За каких-то полгода после этого постановления они потеряли всякое сочувствие населения, их, не стесняясь, ругали, а они, не стесняясь, злоупотребляли, даже приторговывали своим правом. Впервые здесь, в Комарове, столкнулся я с тем, как безобразно подставляла наша власть своих солдат.

Анна Андреевна Ахматова жила совсем недалеко от нашей дачи. Там было несколько так называемых литфондовских дач, или, как она их окрестила, «будки». В одной из таких будок она жила, по соседству с ней жил ее друг поэт Александр Гитович. Как-то приехали ко мне в гости мои пражские друзья: Владислав Мнячко, словак, партизан, хороший писатель, человек интересный, и чехи, писатели Иржи Гаек и Иван Скала. Сидим выпиваем, говорим о том о сем, случайно заходит речь об Анне Ахматовой, я говорю, что она живет тут рядом, ну они загорелись: «Хотим ее видеть». Я сколько их ни отговаривал, «Во что бы то ни стало хотим видеть». Для них имя Ахматовой связано не только с Серебряным веком, но и вообще с мировой поэзией, читали они ее, уговорили пойти навестить. Телефонов не было. Я уступил, поскольку мы все четверо были хорошо выпивши. Я знал Анну Андреевну, общался с ней, не часто, но все-таки. Застали мы ее, конечно, неожиданно, не в лучшую для нее минуту, она гостей не ждала, была в заношенном халате, с неубранными волосами. Они увидели старую женщину, в этой жалкой дощатой даче, драная мебель, драное кресло... Но ничего этого они не заметили, а при виде ее упали на колени, произошло это у них произвольно, все трое упали и поползли к ней на коленях, к ее руке. То, что они так сделали, для меня это было понятно, это было преклонение их, писателей, перед великим поэтом, но то, как она это приняла, восхитило. Она приняла их коленапреклоненность, словно так надо, благосклонно, как императрица.

Неподалеку от меня жил Виктор Максимович Жирмунский. Один из самых замечательных российских германистов. Возвращаясь из университета, он порой заворачивал ко мне и говорил: «Данила, а не раздавить ли нам малыша?» Жена не разрешала ему пить. Мы садились с ним на крылечко, я приносил огурцы, а он доставал из своего портфеля малыша. Малыш, как известно, вмещает 250 граммов, ему полагалось 150 граммов, а мне 100, ибо он академик, а я рядовой писатель. Он был эрудит, умница, и было удовольствием слушать его рассказы. Он был слишком порядочный человек, поэтому ему доставалось от всякого рода проходимцев, которых много было в то время среди литературоведов.

Жил в Комарове глава нашего Союза писателей поэт Александр Прокофьев. Мы с ним и дружили, и враждовали. Он меня выдвинул секретарем Союза и в то же время мог наорать на меня, разъяриться, если его я начинал оспаривать, я ему говорю: «Что вы орете на меня, что я вам, мальчишка?», хлопал дверью, уходил из секретариата,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
он через день-через два возвращал меня. Диктаторство, произвол, не хочется рассказывать, что он вытворял, но писатели терпели, потому что в душе своей он был благородный человек, и ему за нас попадало крепко. Он любил Ахматову и старался помогать ей, защищал. С другой стороны, такого писателя, как Мирошниченко, который доносками погубил немало людей, Прокофьев открыто не терпел (между прочим, он тоже здесь жил, в Комарове), отвратителен ему был доноситель-провокактор Евгений Федоров и прочая кодла. Прокофьев прекрасно понимал, что есть настоящая поэзия, настоящая литература, это для талантливого человека всегда создает тяжелые конфликты с бездарью, а Прокофьев был очень талантлив. Он прошел через революцию, Гражданскую войну, пережил романтику революции, ее ужасы, ее восторг – все вместе, но сложность Прокофьева была в том, что в крови у него была законопослушность, хотя это не обязательно плохое качество. «Богу богово, кесарю кесарево», дано это правительству или этот закон – и я должен его выполнять, даже такой еретичный человек, как Тимофеев-Ресовский, мой Зубр, когда играли «Интернационал», всегда вставал первым, то же самое и Прокофьев. Он чтит Сталина, после Сталина так же чтит Хрущева. Когда на очередной встрече с Хрущевым поэт Сергей Смирнов при мне сказал Хрущеву: «Вы знаете, Никита Сергеевич, мы были сейчас в Италии, многие принимали Прокофьева Александра Андреевича за вас». Хрущев посмотрел на Прокофьева, как на свой шарж, на карикатуру: Прокофьев был такого же роста, как Хрущев, с такой же грубой физиономией, толстый, мордатый, нос приплюснут, ну никак не скажешь, что поэт, и большой поэт, посмотрел Хрущев на эту карикатуру, нахмурился и отошел, нечего не сказав. Прокофьев чуть не избил этого Смирнова. Прокофьев не хотел быть похожим на Хрущева, но в то же время был уязвлен обидой Хрущева. Несмотря на свою внешнюю мужиковатость, он был тонким, начитанным и умным человеком. Однажды меня вызвали в Большой дом, там было какое-то глупое совещание писателей, которых уговаривали писать о чекистах. В перерыве отвели на выставку «История ЧК». Там висел портрет Прокофьева «Почетный чекист». Он никогда не упоминал об этом периоде своей жизни, в том молодом юношеском периоде было много всякого.

До Прокофьева у нас был первым секретарем Кочетов. Это совсем иная статья. Сталинист, догматик. Убежденный хулигатель интеллигенции. Может, зависть способствовала, может, то, что его не допускали в свой круг лучшие писатели города. Кочетов был прославленный, но малоинтересный писатель весьма среднего уровня. Им управляли прежде всего зависть и амбиции. «Писать надо по-простому, – учил он меня, – для народа, для людей, вот как я пишу. Вот я пишу про рабочий класс „Журбины“ роман, и все понятно, все ясно. Я помогаю и партии, и правительству, а то, что эта интеллигенция все мудрит, изощряется, кому это нужно, этот Серебряный век, все эти Крученых-Перекрученых, на хрена они нужны?»

Прокофьеву было нелегко воспринимать молодых, дерзких, он пытался запретить их выступления, не терпел песенников вроде Окуджавы, но не возражал, чтобы их печатали в «Дне поэзии», понимал, что это чужое ему, но талантливое. У молодого Прокофьева были невероятные озарения, вот он пишет о закате:

Розовые кони встали в стойла,
Это продолжалось полчаса.

Николай Тихонов мне говорил о Прокофьеве с восторгом. И Твардовский любил его поэзию. Тихонов тоже пример талантливого человека, которого обкорнали его общественные должности. Он часто приезжал сюда, в Комарово, на несколько дней. Здесь в Доме творчества он не жил, а живал, он нигде не мог жить, кроме своего ленинградского дома. Тихонов был божественной прелести рассказчик. Благодаря своему общественному положению (возглавлял Правление Советского фонда мира) он путешествовал по всем странам и, когда приезжал в Ленинград, собирал у себя друзей, ему нужна была аудитория, пять, восемь, девять человек сидело за столом, и он сам наслаждался своими рассказами.

В Комарове селились люди, которые были уже как-то знакомы или тут познакомились. Сперва это кастовое было знакомство, потом оно стало расширяться, ходили друг к другу в гости, играли в карты, устраивали вечера, шашлыки, выпивали. Я дружил с Геннадием Гором, я его любил, а когда здесь поселились Товстоногов, а затем Лебедев, Жирмунский, это стало постоянным общением. Приходил в гости Георгий Козинцев с Валентиной Григорьевной, они ходили на прогулку, которая как раз кончалась нашим домом. Хейфец приходил. Москвичи, когда приезжали, приходили ко мне: Саша Яшин, Белла Ахмадулина с Борей Мессерером, Ираклий Андроников, Кайсын Кулиев...

Приходили–приезжали, конечно, не только ко мне, к Анне Андреевне шел целый поток посетителей, так что круг знакомств был большой. У нас не было клубов, салонов, как за рубежом, и комаровские встречи в какой-то мере восполняли этот дефицит общения и соединяли людей.

Замечательный художник Натан Альтман жил в Доме творчества архитекторов в Зеленогорске, но они с Ириной Щеголевой, его женой, любили Комарово. Ирина Валентиновна Щеголева–Альтман была веселая, эксцентричная красавица, настоящая красавица, она была как переходящий приз, были такие жены, которые переходили от одной знаменитости к другой. Заполняя анкету, она в графе «профессия» могла написать просто – «красавица». Она жила с Альтманом, которого любила и ценила, что не мешало ей вести веселую жизнь. Она любила ошарашивать людей, например, когда приходили молодые художники к Альтману, она открывала дверь голой и представляла перед ошалевшим художником во всей своей первозданной красе. После смерти Альтмана она часто приезжала на его могилу и по дороге заходила к нам, выпить любила, они с Риммой, моей женой, весело общались подолгу. Дружила она с замечательной группой художников–карикатуристов, в число этих художников входили Малахов, Гальба, Архангельский, был там Эмиль Кроткий и драматург Эрдман.

Летом в Комарове обменивались самиздатом, передавали друг другу на день, на два, на ночь. Сюда приезжали интересные авангардные молодые художники, им надо было на что-то жить, приезжали продавать свои картины – Зверев, Арефьев, Кулаков, Эндер, Михнов. Помогал им Геннадий Гор, рекламировал их полотна, они его любили.

Были еще люди, которые как-то выпадают из обычной комаровской обоймы, а жалко, совершенно прелестные люди, например мой сосед композитор Ключнер, хороший композитор, один из близких Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу людей. Он построил в Комарове дом по своему проекту, сам спроектировал и сам построил. Там был зал музыкальный. К сожалению, жил он довольно замкнуто, кроме меня и Геннадия Гора, не знаю людей, которые с ним общались, смуглый, худощавый, со скрипучим голосом, он умел разговориться только у себя дома. В свободное время он любил создавать архитектурные проекты. Он мне показывал неплохой, во всяком случае для меня очень интересный, архитектурный проект дворца Музыки.

Из Репина приезжал композитор Веня Баснер. На углу Сосновой и Лесной снимали дачу Сережа Юрский и Тенякова в деревянном доме, а в другом доме наискосок жил Реизов, знаток французской литературы.

Неподалеку от нас купил дачу Георгий Александрович Товстоногов. Романов никак не разрешал ему построить дачу.

У Романова был бзик – борьба с мелкобуржуазным приобретательством, дачу он считал идеологической принадлежностью мелкобуржуазности. Собственные дачи – это уступка мелкобуржуазной идеологии.

Эту дачу Товстоногов купил по соседству с дачей Жирмунского. Он приходил к нам, мы часами обсуждали театральные новости, заодно и то, что творилось в стране. Пили чай. Он очень любил анекдоты, начинал разговор обычно: «Ну, какие есть новые анекдоты?» В последнее время приходил уже со складным стульчиком, болели у него ноги. Любил поговорить о том, как плоха, глупа, бесчеловечна власть со своей реакционной партией, как они малограмотны и враждебны культуре. Товстоногов иногда приводил удивительные цитаты. Вот слова одного такого руководителя, который устраивал ему выговор: «Мы вас сделали депутатом Верховного Совета, а вы нас не поддерживаете». «Мы вас сделали», «Вы должны быть нам благодарны» – не скрывал этот деятель, что никаких выборов на самом деле нет, кого хотят, того и делают депутатом.

В Комарове круг общения включал не только литературно–театральную публику, но и научную, ибо Комарово имело как бы свой филиал – Академгородок. Академгородок был построен по указанию Сталина после успеха работ над атомной бомбой. Это был его подарок советским ученым.

В Комарове я бывал у Абрама Федоровича Иоффе. Его называли «папа Иоффе», он, в

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
сущности, был отец нашей советской физики, он ее создавал, и все великие физики – это так или иначе питомцы Иоффе.

У Абрама Федоровича Иоффе жила на участке лисица с лисятами, он за ней с интересом наблюдал и рассказывал мне об их жизни. Был он красавец, благообразный, с хорошим чувством юмора. Рассказывал, как организовал в начале двадцатых годов свой физико-технический институт, какое было время, рассказывал о своем друге Рождественском, как Рождественский пришел к Ленину или к Луначарскому, уже не помню, просить денег на организацию Оптического института. Ему пошли навстречу и дали пятнадцать килограммов денег в мешке, и он с этим мешком за плечами шел от Смольного до Васильевского острова, тащил на себе.

Бывал у Владимира Ивановича Смирнова. В институте учился по его учебнику математики, поэтому у меня к Владимиру Ивановичу было особое почтение. Академик Смирнов считал, что попал в академики по математическим наукам по недоразумению, на самом деле он должен был быть музыкантом, он обожал музыку. Он жил в детстве возле Зимнего дворца, родители его имели какое-то отношение к императорскому оркестру, и все его детство прошло среди музыкантов, но, «к несчастью», у него проявились незаурядные способности к математике, родители его направили в Университет, и он стал заниматься математикой, и так успешно, что вышел в академики. Но его душа была предана музыке. Он аккуратно посещал филармонию, слушал пластинки. Мы с ним часто рассуждали о музыке, о том, почему математики так тянутся к музыке, причем старинной музыке, кажется, как правило они предпочитают Баха, Перголези, Вивальди, Моцарта. Владимир Иванович был человеком чрезвычайно высокой учтивости. Если мы договаривались, что я приду к нему в таком-то часу, он встречал меня на дороге, никогда не было случая, чтобы он был в доме, всегда или у калитки, или возле, хотя он был намного старше меня. Как-то я сидел у Владимира Ивановича, и пожаловал в гости к нему Леон Канторович, тоже математик, лауреат Нобелевской премии. Это был его друг. Канторович жил в гостях у Линников, которые тоже были математики, они жили рядом, и вот зашел в гости. Я, конечно, сразу обратился к Канторовичу: «Вы могли бы рассказать, за что вы получили Нобелевскую премию, потому что никто кругом меня понять это не может?» Он стал объяснять, я почти все понял. Я давно заметил, что великие ученые часто отличаются тем, что говорят с непосвященным так, что он может понять их. И блеск Канторовича, и блеск Смирнова состоял в том, что сложные проблемы, самые сложные, они умели объяснить на пальцах так, что мне становилось понятно, и приятно, и весело оттого, что, оказывается, это так просто.

Это общее свойство больших ученых, они могут свою науку низвести до простоты.

Леонида Витальевича Канторовича у нас недославили, мало оценили. Во-первых, его работы, связанные с экономикой, с рациональными математическими подходами к хозяйству, не годились советской системе, они больше соответствовали европейской, капиталистической; во-вторых, еврей, это тоже играло роль.

Я уверен, что Владимир Иванович, если бы поступил в Консерваторию, стал бы выдающимся музыкантом. В Университете талант помог ему в математике, хотя талант – вещь не универсальная, но математики не случайно любят музыку, не случайно и другое: не случайно, что Пушкин – отличный рисовальщик, что Лермонтов писал хорошие картины маслом, известны рисунки Достоевского, известны хорошие стихи Шагала. Удачных совместителей много. Евгений Лебедев, великий актер театра Товстоногова, все свободное время вырезал из дерева или лепил. Он подарил мне один из превосходных барельефов Товстоногова, своего шурина.

По утрам мы с Лебедевым любили пешком отправляться на Щучье озеро купаться. Примерно в полвосьмого утра два с лишним километра до озера были украшены рассказами Евгения Лебедева, каждый рассказ был спектаклем на ходу.

Щучье озеро – это комаровская реликвия. Озеро небольшое, красивое, оно словно вырубленное в лесу, зеленые стены плотно обступили его по всем берегам, с одного края – холмы, это горное Комарово. Щучка неглубока, но у нее свой нор. Где-то в июне – в начале июля вода в озере становится как бы мыльной, тело покрывается скользкой, чуть желтоватой слизью, это цветут водоросли, потом мыльность проходит. Есть по берегам маленькие травяные пляжи, возле них песчаное дно, тоже маленькое – прибрежная полоса. Десятилетиями ее окультуривают – ставят скамейки, контейнеры для мусора; скамейки тут же ломают на костры, а берег, конечно, замусоривают, в контейнеры редко кто бросает мусор. В иные годы горожане сотнями

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
заполняют все берега своими телами и машинами, казалось, что озеро погибнет, вода превратится в грязный жирный бульон, но жизнеспособность этого озера пока что побеждает, наутро в понедельник после двухдневного насилия оно встретило нас свежее, чистое, с обязательными утиными выводками.

У Щучьего озера сошлись три российские особенности – безнадежность всех усилий администрации района: она ставит скамейки, контейнеры для мусора, иногда даже столы, но все напрасно. Все сжигают на кострах. Второе – наше экологическое хамство и третье – отсутствие сервиса. Надо бы продавать дровишки для костров, воду для чая, обеспечить простейшую службу, вплоть до туалета.

Комарово – один из последних заповедников критической мысли. Критический разум, живая совесть, боль – все это, однако, на глазах быстро перерождалось вместе с поселком. Комарово было тому наглядной моделью. На месте скромных коттеджей, стандартных финских домиков стали строиться трехэтажные каменные монстры, виллы чудовищной архитектуры, где окна – узкие бойницы, вместо прозрачных заборчиков из штакетника появились глухие кирпичные стены высотой с кремлевские, снабженные телевизионными искателями. Владельцы не обязательно новые русские, часто это бываю комаровские интеллигенты, которые переметнулись в коммерцию, разбогатели и покончили со своим прошлым, они герои новой идеологии обогащения, идеология сводится к одному: «Бедным быть стыдно» – такой лозунг в 2005 году появился на улицах Петербурга.

Кончается прелесть прежней комаровской открытой, гостеприимной жизни. Никто никого там у нас не предупреждал о своем приходе, каждый приход в гости становился импровизацией. Новые порядки приводят к существованию замкнутому, настороженному, под стать этой новой архитектуре с глухими заборами. Может быть, это неизбежно, правда, в Комарове появился музей стараниями энтузиастов Ирины Снеговой и Елены Цветковой, комаровских аборигенов, им удалось собрать фотографии, мемориальные вещи, картины, открытки, но главное, они записали воспоминания старожилов.

Одна из достопримечательностей Комарова – комаровская библиотека. Что бы ни происходило, возле комаровской библиотеки всегда толпилась и аккуратно посещала ее детвора комаровская или сами дачники. Здесь устраивались литературные вечера, здесь была школа художественная для детей. Это все были летние радости.

* * *

Не может быть монеты с одной стороной, не может быть монеты, где одна сторона имеет цену одну, а другая – другую.

Живем невнимательно. Пропускаем мимо вещи сны. Не пытаемся их понять. Не вдумываемся в знаки, сигналы, предчувствия.

Язычники принимали природу как мать, не смели поучать ее, поправлять. Они читли ее мудрость, следовали ее требованиям.

Мы относимся к ней скорее как к ребенку. В ней нет запретных плодов. Ребенка надо поправлять, заставлять делать то, что нам нужно, он неразумен.

Для язычников чудо – свойство природы. Чудеса, волшебство – неотъемлемая часть жизни неведомых нам сил.

Ведьмы, лешие, русалки, колдуны, они ведали тайнами. Вдруг ни с того ни с сего налетела буря, сосед сходил с ума, огни блуждали по болоту.

В мире хозяйничали боги, их действия были непонятны. Наука последнее тысячелетие все энергичнее расправлялась с ними. Заросли вырубались, ширилось пространство логики, практицизма. Божественное в человеке сокращалось. Жизнь все меньше воспринимается чувствами, виртуальная реальность заменяет непосредственные эмоции, искусство живет без слез, восторгов, потрясений...

Вот и похоронили Ольгу, Ольгу Федоровну Берггольц. Умерла она в четверг вечером. Некролог напечатали в день похорон. В субботу не успели! В воскресенье не дают ничего траурного, чтобы не портить счастливого настроения горожан. Пусть выходной день они проводят без всяких печалей. В понедельник газета

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
«Ленинградская правда» выходная. Во вторник не дали: что, мол, особенно, куда спешить. Народ ничего не знал, на похороны многие не пришли именно потому, что не знали. Газету-то читают, придя с работы. Могли ведь дать хотя бы траурную рамку, то есть просто объявление: когда и где похороны, дать можно было еще в субботу. Нет, не пожелали. Скопления народа не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыгаться за все неприятности, какие доставляла ему Ольга. Нагнали милиции и к Дому писателя, и на Волково кладбище. Добились своего – народу пришло немного. А как речей боялись, боялись, чтобы не проговорились – что была она врагом народа, эта великая дочь русского народа была врагом народа, была арестована, сидела, у нее вытоптали ребенка, ее исключили из партии, поносили... На самом деле она была врагом этого позорного режима. Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Не проговорились. Только Федя Абрамов намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел попошачаться, сказать, за что любил ее, а с этими шакалами счеты у гроба сводить мелко перед горем ее ухода, заплакал, задохнулся, слишком много нас связывало. Только потом, когда шел с кладбища, нет, даже на следующий день заподозрил себя: может, все же убоился? Неужели даже над ее гробом лжем, робеем?

Зато начальство было довольное. Похоронили на Волковом, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И вроде бы почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила с блокадниками. Но где кому лежать, решает сам Романов. Спорить с ним никто не посмел. А он решает все во имя своих интересов, а интерес у него главный был – наверх, в Москву, чтобы ничего этому не помешало!

Надо было оповестить о ее смерти и по радио, и по телевидению, устроить траурный митинг, траурное шествие. Но у нас считают, что воспитывать можно только радостью. Что горе – это чувство вредное, мешающее, не свойственное советским людям. О своей кончине начальники не думают, мысли о своей смерти у них не появляется. Они бессмертны. Может, они и правы. Их приход и уход ничего не меняет, они плавно замещают друг друга, они вполне взаимозаменяемы, как детали в машине.

Машина эта и Ольгу, смерть ее тоже старалась перемолоть, пропустить через свое сито, через свои фильтры, дробилки, катки. Некролог, написанный Володей Бахтиным, написанный со слезами, любящим сердцем, – искромсали, не оставили ни одной его фразы. И то же сделали с некрологом Миши Дудина в «Литгазете».

Накануне я был у Ольги дома. Ее сестра, Муся, рвалась к ней ночью, домработница Антонина Николаевна не пустила ее. Какая-то грязная возня, скандал разразились вокруг ее наследства. Еле удалось погасить. А Леваневский, старый стукач, уже требовал передать ее архив КГБ (!).

На поминках выступала писательница Елена Серебровская, тоже сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла. На могиле выступал поэт Хаустов. Зачем? Чужой ей человек. Обозначить себя хотел? Вся нечисть облепила ее кончину, как жирные трупные мухи.

Мне все это напомнило похороны Зощенко, Ахматовой, Пастернака. Как у нас трусливо хоронили писателей! Чисто русская традиция. Начиная с Пушкина. И далее Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Есенин, Маяковский, Фадеев... Не знаю, как хоронили Булгакова, Платонова. Но представляю, как хоронили Цветаеву.

На поминках опять выступала Елена Серебровская, оговорила, что не была другом Ольги Федоровны, но должна сказать, как популярно имя Ольги Берггольц за границей, и т. д. Не была другом – да Ольга ненавидела эту доносчицу, презирала ее. Она бы никогда не села с ней рядом, увидела бы ее за столом – выгнала бы, изматерила. Если бы она знала только, что эта падла будет выступать на ее поминках, жрать ее балык, пить ее водку, приобретенную на заработанные Ольгой деньги.

И на похороны Юрия Павловича Германа эта Серебровская пришла и стояла в почетном карауле у гроба человека, которого травила, на которого писала доносы, которого убивала.

Что это такое? Ведь кощунство – это самое постыднейшее, самое безнравственное извращение человеческой души, где не осталось ничего запретного, нет ничего стыдного, нечего уже совеститься. Не то что – все дозволено, а все сладко, самое

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
мерзкое сладко, человечину жрать – радость...

И мы тоже хороши, вместо печалей, благодарной памяти – злоба, злоба.

ВОТ ИСТОРИЯ В ДУХЕ М. М. ЗОЩЕНКО

И так они и жили. Раз в квартал или там в полгода происходило это самое посещение.

– Ничего особенного я в этом не вижу, – говорила жена. – Со своей стороны я компенсирована, поскольку шестьсот рублей тоже деньги, а от мужа мне не убудет. В остальное время я никаких ему вольностей не разрешаю и берегу его бдительно. Он же мне благодарен, и брак наш от этого крепче. Эта же крашенная любовница, конечно, нарушает по всем статьям законы, но это ее личное уголовное дело. За двести рублей, – рассуждала она, – можно любую женщину обольстить.

Так что, как видим, она как бы считала, что эти шестьсот рублей дает им любовница вроде из своего кармана. Про государство, таким образом, никто из троих не думал.

В один прекрасный для кустаря и фининспектора день они соединились окончательно, кустарь ушел из дома, прихватив свой сапожный инструмент, а вскоре подал на развод. На суде вся история выяснилась с удручающей обоюдностью. Оставленная жена обвинила фининспектора в недоборе налога, а мужа своего – в том, что он вступил в связь не по любви, а ради корысти, и оба они нанесли государству ущерб. Судья на это удивилась, почему она раньше о государстве не переживала.

– Но как же так, или же ты будешь жить на две стороны, – спрашиваю, – это же ужасно.

– Ничего ужасного, – говорит он, – наоборот, я почувствовал отцовские радости, которых был лишен от своей дочери, и жизнь моя как-то наполнилась. Что же касается жены, то она пока не знает, а если и узнает, то я не вижу причин для трагедии.

ВОЗМЕЗДИЕ

Муж бросил жену с дочерью, ушел к возлюбленной. Дочь до двадцати лет воспитывали в духе возмездия. Она пропиталась этим духом, мечтала, как когда-нибудь встретится с отцом, он будет несчастен, покинут, брошенный, пьяненький, больной, поймет, как ошибся, станет просить прощения у нее. Возмездие неотвратимо, грех наказуем. Она будет безжалостна – ты даже не поздравлял меня в дни рождения!

И вот они встретились на юге, случайно, он в белом костюме под руку с женой, красивой корейкой с золотым браслетом. Веселые, счастливые. Дочь поражена. Как же так? Он и не думает каяться. Приветлив, приглашает в ресторан. Где же мораль? Нет возмездия, никакого, ни раскаяния, ни чувства вины. Что же это значит?

* * *

Мне симпатична идея Карла Поппера о том, что историей движет технический прогресс, или точнее: «Ход человеческой истории в значительной степени зависит от роста человеческого знания».

Знания, открытия непредсказуемы, поэтому непредсказуем ход истории.

Непредсказуемой была эпоха информатики. Она создала коммуникативность мира, глобализацию.

Историю движет не так идеология, не так религия, а скорее развитие науки и техники. Остановить это развитие невозможно, оно сопровождает человечество с момента появления мышления.

Какова тут роль культуры? Гуманитарных наук? Без них был бы человек – творцом? Можем ли мы жить без идеи, без богов, без музыки?

Усмирение наук – необходимость? Как все же повлиял, допустим, Интернет на ход новейшей истории? Или освоение космоса? Мобильники? Телевидение? И т. п. Мир стал коммуникативен, он живет в режиме online... И что все это может определять?

Самое важное и необходимое в жизни человека – определить свои способности. Повезло, определил, нашел себя, а то и так бывает, что само нашлось, вылезло, потому как призвание неудержимо. И что?.. Какой бурной государственной деятельностью всю жизнь занимался Державин – и в сенате, и при дворе, и на губернаторстве, сколько обид принял, сил убил... а был он великий поэт и должен был писать, писать, писать!

Большинство людей живут, не узнав свои способности, не сумев выявить свое дарование, у каждого оно к чему-то есть. Но вот мой друг Илья Имянитов, замечательный специалист по атмосферному электричеству, автор многих работ, вдруг под старость стал писать еще и рассказы. Слабенькие, подражательные, расстраивался, потому что понимал, что не то, но упорно продолжал. Зачем? Что это было? Подобные извороты случались у многих моих друзей. Начинали заниматься музыкой, сценой, живописью, мешали своему истинному призванию. Видно, чего-то им не хватило. Хотели попробовать и другого?

В Глиптотеке Мюнхена автопортрет Рембрандта – маленький, не похожий на копии в монографиях. Там он яснее, больше, величавей. Но зато в подлиннике остается что-то еще не переходящее в копии.

В Баден-Бадене памятник евреям – жертвам фашизма. Надпись: «В городе не нашлось ни одного человека, который протянул бы руку помощи».

В Цюрихе пять витражей Шагала в костеле. Заказал их аноним, до сих пор не известно кто.

Роман Васильевич, приехав из Европы, рассказывал сослуживцам:

– А что их храмы, ничего особенного, наши не хуже, у нас есть построенные еще в третьем веке до нашей эры. Да, мы продавали иконы, картины, во-первых, в обмен на трактора, во-вторых, все достанется нам обратно после мировой революции. Да, конечно, продовольствия у них больше. Я убедился, правильная у нас политика, страхом надо держать, страх заменяет сосиски.

Экология – милосердие к природе.

В снежных тулупах стоят памятники.

Югославия была страной дружбы народов, как и у нас. Анекдот по этому поводу:

В студенческом общежитии, надо вернуть лампочку. Черногорец становится на македонца, который стоит на сербе.

– Ну что же ты? – кричат ему снизу.

– А чего вы не вертитесь?

НАУКА

Вопросы «почему?», «зачем?» в науке неинтересны. Мне, например, казалось весьма важным увидеть, что мальки, маленькие рыбки, стая их, поворачиваются одновременно, никаких вожаков у них не видно. Есть ли какая-то система сигнализации, связи? Как она действует? Но оказалось, что ихтиологов это пока не занимает. Им интересно то, что можно решить, то, где путь наметился, где есть за что ухватиться. Этим отличается искусство от науки. В науке ценен не вопрос, а ответ, его возможность... В искусстве важен не ответ, а вопрос, да такой, чтобы загнать в тупик, чем безвыходнее вопрос, тем он ценнее.

Эйнштейн писал: «В одном поколении так мало людей, которые обладали бы одновременно ясным пониманием природы вещей, глубоким чувством истинных

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
человеческих потребностей и способностью к активным действиям».

Просто удивительно, какую недоброжелательность получал Эйнштейн многие годы в нашей стране от самых разных людей, большинство из них понятия не имели, что есть теория относительности, они были только наслышаны о том, что это один из тех законов, который определяет устройство мира и нашу жизнь. Им претило, что этот немец, как считали одни, еврей, как считали другие, устанавливает свои законы, по которым мы, оказывается, должны жить и не можем их нарушить, вот что непереносимо. Сотни людей, самодеятельно образованные в пределах средней школы, пытались опровергнуть его законы, уверенно доказывали его просчеты. Я лично встречал немало таких старателей, они приносили мне тетради со своими доказательствами, были иногда среди них и люди образованные, например некий Герловин, который годами ходил ко мне, ну ладно бы только ко мне, он обивал пороги и Академии наук и академических институтов, доказывая заблуждение Эйнштейна. Их всех раздражала неочевидность его законов. Тяготение – это наглядно, электричество, радио, арифмометр – все очевидно, у этого же «теория относительности» – зачем, где она?..

Ланжевен писал об Эйнштейне: «Истинное моральное величие его личности было причиной, вызывавшей ярую ненависть многих интеллигентов, скорее всего ограниченных». Наверное, действительно миром правит зависть, особенно к гению, к истинному гению, и все невежды и дураки ополчаются против него.

* * *

Телефильм назывался «Цель творчества – самоотдача». Как вы думаете, о чем? О реконструкции трубокатного завода в Перми, вот куда угодил Пастернак, вот на что его приспособили, сразу и не скажешь, чего тут плохого, а почему-то неприятно. Пастернака еще не признавали, а строчками его и формулами пользуются, не оговаривая, что это цитата. Законно ли это? А может быть, это признание какого-то тайного поклонника, какого-то благодетеля, таким образом он пробивает дорогу своему любимому поэту.

Георгий Александрович Товстоногов сказал на совещании, обращаясь к начальству: «У вас не вызывают возражения только оды и монументальная пропаганда».

Могила Пастернака тесно окружили могилы переделкинских жителей, трудно пробраться к ней, а было так одиноко и хорошо в первый год, когда он лежал на пригорке у сосен и видна была его дача. Примерно так же произошло и с могилой Ахматовой, правда, тут, в Комарово, ее окружали свои, не чужие – Александр Гитович, жена его Сильва, художник Альтман, чуть поодаль Жирмунский, Лихачев, а там, в Переделкино, разве что Корней Иванович.

Религия древних греков жила всеми человеческими страстями. Их боги ссорились. Влюблялись, устраивали друг другу всякие каверзы, сцены, они были и хитры, и наивны. Полнота их бытия радовала схожестью с нами. Их бытие было понятно. Главное, что отличало их, – это бессмертие, сроки жизни богов – вот чему завидовал человек. Их превосходство признавал и ему поклонялся. Каждый бог имел свой раздел власти, и просьба к нему была конкретная.

В христианской религии нет места ни смеху, ни проказам сильных и счастливых натур, в ней все серьезно. На первом месте страдания, поиск справедливости, наказание, желание утешить человека. Она смягчала жестокость нравов древнего мира, страдания заставляли задуматься над теми чувствами другого человека, которому ты причиняешь зло. Поступки человека стал оценивать он сам. У него появились нормы добра и зла, единый Бог соединил моральные оценки в нравственную систему. Все правильно, но у человека поубывало радости сегодняшнего своего пребывания на земле.

Генетик Рапопорт попросил слово на сессии Академии наук, прошел он туда без билета, по дороге к трибуне его из президиума предупредил приятель: «Имей в виду, есть решение, все согласовано», тем не менее Рапопорт произнес яростную речь в защиту генетики, ему аплодировали, потом окружили его корреспонденты и стали уговаривать изменить стенограмму, особенно конец сделать примиряющим. Он отказался. На следующий день в «Правде» все же напечатали с таким

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
соглашательским концом. Он позвонил Поспелову, потребовал исправить ошибку, тот ответил: «„Правда“ никогда не ошибается».

ПРИЗНАНИЕ

Было это в мае 1984 года.

«Клуб кинопутешествий». Снимали нас всю дорогу в Старую Руссу. Там был такой эпизод. Мы – Лихачев, Сенкевич и я – приехали в село Взвяд, к рыбакам. На берегу озера Ильмень. Вечером развели костер, варили уху, рыбаки травили байки. Один из них, умница, неторопливый, в старой солдатской гимнастерке, рассказывал про озеро. Оператор все время просил его смотреть в камеру, но тот больше смотрел на Лихачева.

– Есть у нас рыбаки, которые перевыполняют план. Вылавливают много больше заданного. Есть такие. Только разве можно в нашем деле перевыполнять? Рыбу можно запросто всю сразу выловить, ничего не оставить...

Смотрим передачу, остались только первые две фразы, остальное цензура вырезала. Если бы собрать и запустить все вырезанное цензурой, интересный получился бы фильм.

Замечательное было путешествие. Из Новгорода мы шли на специальном пароходике через Ильмень. Сенкевич тогда был всесоюзной телезвездой. В те годы, между прочим, природа «звезд» была другая – не песни, не шоу, не куплеты, к примеру, вспоминаются три звезды: Каплер – он вел передачи о кино, Сенкевич – «Клуб кинопутешествий» и Дроздов – «В мире животных».

Когда мы приехали в Новгород, то пошли гулять по набережной. Идем втроем. Никто нас не замечает, никому в голову не придет, что могут здесь оказаться Лихачев и Сенкевич. Поэтому чувство прелестной свободы. Солнышко. Тепло. Вдруг бежит навстречу школьник, размахивая своим портфельчиком, видно, со школы, в том схожем с нашим беспечно-счастливым состоянии, чего-то напевает. Второй класс, не больше, это возраст, когда человеку не бывает скучно, собственного общества ему достаточно. Миновав нас, он умолк, вернулся назад, забежал посмотреть, глаза его округлились, прямо-таки выпучились, уставились – на кого? Конечно, на Сенкевича! Призрак? Бред? Инопланетянин! Он застыл в ужасе, открыл рот и закричал истошным голосом: «Аа-а! Мама! Мама!» – первое, что кричат все дети мира.

Сенкевич сказал, что никогда еще не получал такого искреннего признания своей славы.

ОБЛОМКИ

Пропали отцовские фотографии, семейный альбом, пропал сундук с отцовскими материалами лесных обмеров, экспедиций, все сожгла соседка в блокаду. Сундук оставила, сожгла и старинные книги, и мои школьные тетради, которые отец собирал, мои рисунки, стихи, все то, что хранил для меня и внуков. Как будто пропало мое детство.

ВИНА

Подруга ушла, и обнаружилась пропажа кольца. Дорогое. Они играли на рояле в четыре руки, хозяйка сняла кольцо, и потом его не стало. Все переискали – нет. Подумать было только на подругу. Ее отлучили от дома, сторонились, конечно, ничего не сказав. Прошло три года. Однажды вызвали настройщика, и где-то внутри рояля он обнаружил кольцо.

Повиниться, сказать ей – значит смертельно ее обидеть: как на нее могли подумать.

Не говорить – тоже стыдно, ведь виноваты.

В ИСПАНИИ

В Толедо Миша Луконин не захотел с нами идти смотреть старинные соборы. Надоело ему – «Осточертели ваши каменюги».

Он остался ждать нас в местной пивной.

Вернулись мы с Сережей Залыгиным через час. Заходим в пивную, видим: Миша восседает за столом, кругом него народ. Сидят, стоят, хохочут, чокаются с ним

кружками.

Мы спросили его:

- Что ты им рассказывал?
- Да всякие байки, анекдоты.
- По-испански?
- Да я ни одного слова, я по-русски.
- А как же они понимали?
- А шут их знает. Смеялись.

Провожали они его, обнимая, словно закадычного друга.

Мне с детских лет
Был близок Дон Кихот,
Чудесный рыцарь солнечной Ламанчи.
Неумных подвигов пример его зовет
Сражаться с мельницами
Так же, как и раньше.

Есть одно важное педагогическое правило, о котором учителя редко думают: когда учитель выставляет отметку ученику, ученик при этом тоже выставляет отметку учителю, отметку справедливости.

Нина Евгеньевна, женщина в 75 лет, молодилась, красилась, выглядела, однако, смешно. Однажды приехала на похороны своей давней подруги. На кладбище заблудилась, попала на похороны генерала. Не успев разобраться, положила венок с надписью «От твоей верной подруги». Вдова уставилась на нее и все остальные. Спрашивать, тем более скандалить в торжественной обстановке никто не посмел. Сама она почувствовала что-то не то, но постеснялась взять венок обратно.

Наука поднимается со ступеньки на ступеньку, каждая следующая поправляет прошедшие. Она все больше знает, прошлое для нее наивность, заблуждения, ошибки. Естественно самомнение, восторг движения вперед и выше. Поэтому к искусству относятся свысока. Искусство ведь ничего не отменяет, живет прошлым, оно чтит гениев прошлого, они все так же хороши. Годы их не обесценивают.

Все это известно, однако тут заходит один замечательный физик, академик, с моим другом, тоже замечательным физиком, но еще не академиком, всего лишь доктором, слушают мои рассуждения и одновременно молчат и чуть поводят головами, горизонтально, то есть несогласно, потом вздыхают, ибо считают, что законы Ньютона как были, так и остались незыблемыми, а многое из того, что появилось позже, ничего особенного не произвело, не объяснило, как держал Ньютон на себе механику, так и держит.

До чего симпатичны эти «осаже».

ФИЛАТЕЛИСТЫ

Их разговоры:

- ишу 1929 год, английские, со всеми фунтами, чтобы хорошие края.
- Каталог Скотта есть у вас?
- Скотт недооценивает английские марки.

Один из них, шпион, оказался таким страстным любителем, что забросил свои шпионские дела.

ИЗ ЖИЗНИ ЗАЛИВА

Ноябрь. Первый снег. Морозно. Залив еще не замерз. Вдоль воды неширокая полоса песка, незаснеженного, чистого, плотного песка, он тянется бордюром, повтором

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
изгиба водного обреза. Верно, песок здесь тяжелый от воды, и снег на нем не держится. Я иду по этому песку, за кромкой облака, позади меня тень, впереди солнце. Облако движется неспешно, и я шаг свой соразмеряю с ним. Пустынно. Тихо. Залив не похож на летний, мелкий, теплый, тот несерьезный залив, который примелькался и который считаем всегда за лужу. И на зимний, заснеженный, замерзший, покрытый льдом, тоже еще не похож, потому что зимой тоже знаешь, помнишь его мелкоту. Сейчас он спокойный, похожий на северное море, какое-нибудь Охотское, Белое. Камни заледенели. Вода блестит тяжело, хмуро, еле шевелится. Солнце отражается на воде тускло. Весь залив стал выпуклым, тугим. Вчерашний шторм повывидывал на берег склянки, деревянные ящики, покрышки, много обуви – летние тапочки, резиновые сапоги, какие-то подошвы, сандалеты. Валяются цветные иностранные коробки, из Финляндии их, что ли, принесло, а может, с пароходов. Консервные банки, доски, уже обточенные волной, куски кирпича, веревки, ложка, пластиковая накидка, чего только нет тут. До меня ходили здесь птицы. Чайки, наверно, или кулики. Лапные следы их обрываются внезапно, а то убегают в море. И там же, по-птичьи, появляется вдруг женский след каблукочков. След свежий. Откуда она здесь, как попала, как прошла на каблукочках по снежной целине? Я иду по ее следам, видно, как она остановилась, потопталась у зеленого вала из водорослей. Почему-то он именно здесь выброшен на берег. Ни раньше, ни потом их нет, этих водорослей. Я тоже стою и раздумываю над причудами моря. Потом мы идем дальше, я и она, ее след, через ручеек, мимо заваленной песком лодки, вся в сосульках, нарядная от льда, похожая на раскрашенную гондолу; мимо заколоченного киоска, мимо каменной гряды, следы на песке очень четкие, ножка у нее маленькая, если оглянуться назад, то покажется, что мы гуляли вместе, может, держались за руки, о чем-то болтали... по этим следам можно было подумать, что я молодой. На этом на заливе, на этом берегу был я молодым. Почти каждый год, летом, зимой, я бывал тут. И всегда я чувствовал себя тут молодым. Наши компании, лодки, костры, пляж, всего уже не упомнишь. Вот недавно Толя Чепуров рассказал мне, как мы сидели с Кочетовым в ресторане, а я начисто забыл и с удивлением слушал его рассказ. Вспомнил сейчас благодаря заливу. Он хранит, наверно, и другие случаи моей жизни.

ЭЛЬ ГРЕКО

Судя по воспоминаниям русских художников, которые ездили в Испанию, они увлекались там кем угодно, влюблялись в других художников, но почему-то не в Эль Греко, хотя он был выставлен в музее Прадо, картин его было много в Испании, а тем не менее на него не обращали внимания, не упоминали его. Заметили Эль Греко в 60–70 годах прошлого века. Почему, почему ни Коровин, ни Остроумова-Лебедева, ни другие бывавшие в Испании, вплоть до Боткина, ни разу не сообщали про Эль Греко, ни разу нигде не упомянули. Странно. Смотрели его картины и не видели его. А между тем, если ответить на этот вопрос, то можно получить важный ключ к пониманию и времени, и нравов, и вкусов. И прошлого и нынешнего веков. Почему одна эпоха «видит» этого художника, другая же начинает «видеть» другого? Вдруг прежде пустынные залы, где висит Эль Греко в музее Прадо, становятся оживленными, а там, где висит Веласкес, там малоллюдно.

«Люди, я люблю вас, не будьте бдительны», – говорили мы в семидесятые годы.

– Как живешь?

– Не знаю, – очень серьезно ответил он.

Во времена Наполеона была фраза «Лживый, как рапорт».

Беспрепятственная любовь долго не держится.

ШОСТАКОВИЧ

После проработки 1948 года Дмитрия Дмитриевича вызвал Молотов и предложил поехать в Соединенные Штаты в составе делегации: Фадеев, Несмеянов и Шостакович. Дмитрий Дмитриевич замаялся, сослался на здоровье. Молотов был вежлив, но настаивал. Потом Шостаковичу позвонил Сталин и спросил, почему не исполняют его вещей, почему не издадут, безобразия. И сказал, что надо ехать. На следующий день приносит фельдъегерь постановление секретариата об издании и исполнении произведений Дмитрия Дмитриевича. Шостакович поехал в Соединенные Штаты.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Устроили ему демонстрацию у отеля с плакатами «Да здравствует Шостакович!». Из этого отеля наши срочно увезли его в другой, за сто километров от Нью-Йорка. Посещение прошло триумфально, но после поездки ничего не изменилось, как не исполняли – так и не исполняли, несмотря на бумагу с решением, и не издавали.

Был Дмитрий Дмитриевич скромнен и аристократичен. Подарил он Гликману, своему другу, часы, привез из Америки, и не сказал, какие они дорогие, не сказал даже, что золотые. А эти часы были ручной работы. Через много лет, когда Гликман принес их часовщику, тот ахнул, увидев их.

* * *

Человек простой и полезный, как пуговица.

Какой вопрос мы чаще всего задаем знакомым – «что нового?». Мы сами не знаем, что мы хотим услышать. Скорее всего ерунду – кого назначили, кого сняли, кто развелся... Во всяком случае, лишь бы что-то происходило с другими. Говоря откровенно, радостные новости привлекают нас куда меньше, чем вести о наводнении, пожаре. Помню, как спрашивали меня в Москве, что за наводнение у нас было, что затопило, и замечал разочарование, когда говорил, что вода поднялась совсем немного.

– Вы рождены Мессалиной, а живете как Мадонна, – сказал ей доктор. – Это вредно.

Григорий Борисович Марьямов, оргсекретарь Союза кинематографистов СССР, рассказал мне в 1981 году. Он присутствовал при аресте Бабеля, было это на даче Бабеля под Москвой. Дача маленькая, они приехали туда вдвоем с режиссером Марком Донским, Бабель писал в это время сценарий для фильма по Горькому «В людях». Дача была окружена, их заставили пройти в боковую комнату, «Сидите здесь», – сказали; долго шел обыск, в простыни сваливали книги и рукописи. Потом, это они видели в окно, вывели Бабеля, посадили в машину, им же сказали: «Сидите здесь еще тридцать минут, потом можете уезжать».

Еще он рассказал, как в пересыльной тюрьме Остап Вишня встретил Бабеля и они вдвоем провели ночь. Конечно, это апокриф, но любопытный. Бабеля везли в Москву, требовали от него признание, он не соглашался: жить, считал он, оставалось немного, и не стоило марать своего имени. Попутно он рассказал милую историю с рецептом кофе. Гронский, известный в те времена издатель, предложил Бабелю поехать в Париж, но денег было лишь до Вены. «Приедешь в Вену, – уговаривал Гронский, – оттуда дай телеграмму, я с ней пойду к начальству и выпрошу денег для Парижа». Однако на первую телеграмму Гронский не ответил, деньги таяли, Бабель съехал из шикарного венского отеля в скромный, затем снял комнатку у хозяйки кофейни. Денег все не присылали, он на последние отбил отчаянную телеграмму. Хозяин кофейни полюбил Бабеля и содержал его в долг. Наконец деньги пришли, Бабель пришел прощаться, хозяин сказал: «Исаак, я хочу вам сделать подарок, я научу вас варить кофе по своему рецепту, только дайте слово, что никому никогда его не откроете». В Москве Бабель, принимая гостей, варил кофе по венскому рецепту, надевал передник, всех выгонял из кухни, закрывал ее на крючок и вскоре выходил оттуда, неся на подносе чашки кофе.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПИСЬМА

«Верноподданность, если б Вы знали, что это такое. Монархия, особенно абсолютная – гнусность. Верноподданничество требует отказа от своей личности, своих мыслей, я слушаюсь без колебаний и раздумий – это добродетель. Своих идеалов нет, в себя не веришь. Трусость – это не позор, а принцип поведения. Умен ты или глуп – не видно, потому что ты покорен. В конце концов подчинен и уверен, что это законно».

Достоевский был послан ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, брату Николая I. Как-то, думая о своем, он забыл отрапортоваться по форме. «Посылают же таких дураков», – сказал великий князь. Года через три, то есть в 1844 году, после производства в подпоручики и зачисления на службу в Инженерный департамент, чертеж его попал на глаза императору... Николай посмотрел и якобы надписал на чертеже: «какой идиот это чертил!» Царские слова, по обычаю, покрыли

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
лаком, чтобы сохранить для будущих поколений. Однако когда Достоевский стал знаменитым – изъяли.

В России в прежние времена речи не становились статьями. Речь была речью. Это в той России, а в нынешней он читает свою речь, а она заготовленная статья. Добро не должно пропадать. Все надо публиковать. Слушаем доклад, а уже в журнале набирают его как статью. А вот В. Ключевский произносит речь памяти И. Болотина на столетнем юбилее историка и нигде не печатает ее. Речь памяти А. Пушкина, памяти Ф. Буслаева – замечательные, исполненные глубоких мыслей, не публиковались. Ключевскому и в голову не приходило, он же готовил их, во-первых, по законам устного жанра, во-вторых, он обращался к слушателям, объявляя, что говорит для них, и соблюдал обещание.

Насчет участия Горбачева в путче (ГКЧП) можно сказать лишь одно: когда грешит топор, грешит и топориче.

На съезде народных депутатов, когда Горбачев предложил вице-президентом Янаева, съезд дружно проголосовал против. Янаев сам себя разоблачил, рассказывая о себе. Никогда еще я не слышал, чтобы человек показал себя аудитории настолько глупым. Его спросили о здоровье, он захохотал, подмигнул съезду, сказал: «Жена не жалуется» – и все в таком пошло-хамском духе.

В перерыве меня делегировали к Горбачеву. Мы никак не могли понять: почему он так упорствует, требует вновь переголосовать кандидатуру Янаева?

Мы присели с ним в стороне на диванчик, я напрямую сказал ему, что Янаев жлоб, глуп, ни в коем случае его нельзя делать вице-президентом.

Напутствуя меня, Лихачев и Адамович советовали не стесняться в выражениях, с меня, писателя, какой может быть спрос.

Горбачев спросил: есть ли у меня факты? Фактов не было, было совершенно определенное чувство, чувство единое, сотен депутатов. Михаил Сергеевич отвергающее помотал головой, мягкая, приветливая уверенность не покидала его. На чем основывалась она, я до сих пор не могу понять. События ГКЧП подтвердили ничтожность Янаева. Вообще события показали, насколько Горбачев не чувствовал людей, которых он подбирал себе, большая часть их предавала его. В этом отношении он не сравним с Ельциным. У того были не знания, а чутье, и он редко ошибался.

Знать человека? Что это означает – знать его заверения, его анкету, компромат на него? Есть другое знание – метазнание. Откуда оно берется? Понятия не имею. Вы приходите в незнакомую компанию, и кто-то вам приходится по душе, кто-то симпатичен, кто-то нет. У каждого свой выбор. Но этот ваш инстинкт дан природой. Чтобы пользоваться. Никакие знания не заменяют это таинственное ощущение «свой», «чужой».

Храпченко, глава отделения Академии наук, называлось оно, кажется, «отделение литературы и языка», предложил вместо умершего М. Шолохова избрать в Академию руководителя Союза писателей Г. М. Маркова, был такой начальник-писатель, любимец Брежнева и соответственно увенчанный наградами. Лихачев заявил, что будет выступать против. Академия, особенно на выборах, была строптивой, и тогда Храпченко объявил, что голосовать будут на совместном заседании с философами. Те проголосуют как прикажут.

Петру Великому приписывают такое высказывание: «Привычка менять все время наряды, платья в конце концов превращает придворных в вешалки, висящие в платяном шкафу».

НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ

Разговор по радио с ветеранами, блокадниками:

– Вы же были молоденькой девушкой, какое впечатление на вас произвели бомбежки?

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

- Конечно, пугалась.
- Потом привыкли?
- Потом легче стало.
- А когда голод наступил, к голоду привыкнуть трудно?
- Да как к голоду привыкать, кушать хочется.
- А тут еще бомбежка, что хуже? О голоде забудешь?
- Да, забывали.
- А после отбоя опять голод возвращается?
- Возвращается, конечно, куда он денется.

В таком духе разговор идет долго.

Приходит ко мне журналистка:

- Даниил Александрович, расскажите, что вы думаете о проблемах нашего города.
- Что вы имеете в виду?
- Все, что считаете нужным.
- Но у вас есть, наверное, вопросы конкретные?
- Вы рассказывайте все подряд, я потом вставлю конкретные вопросы, и получится интервью.

Видимый нами мир прекрасен. В нем встает солнце и заходит, тогда появляется луна, звезды украшают ночное небо. Мир всегда был и всегда будет, сотворенный кем-то. Все оправдано и нужно и не может быть иначе как в этой красоте. Зачем мне знать, что Земля круглая, да еще кривая, что солнце не восходит, что в самом деле все не так устроено, как я вижу, что этот чистый воздух полон радиоволн, несущих какую-то информацию и всякую чушь.

Целостность реального мира отбирают у меня, лишают радости чувствования, убеждают, что все, что вы видите, на самом деле не совсем то, не так просто.

США

Камнями, которыми мы забрасывали гениев, они мостят новые дороги.

Лас-Вегас: Грех, который провел всю жизнь за рулеткой, считал, что первое удовольствие в мире – выигрывать, второе – проигрывать.

Галерея в Лос-Анджелесе, выставка современной живописи:

Кушетка истлела, на ней останки человека.

Корни дерева охватили гроб.

«Вторжения в США не может быть, потому что нет места для стоянок».

У нас продажа Аляски – глупость. В США покупка Аляски – глупость, купили ее лишь в благодарность за помощь русского флота в гражданскую войну. Сьюрд, госсекретарь, дал обязательство, его все ругали, долго еще Аляска называлась «глупость Сьюрда».

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Мы с Виктором Розовым плывем по Миссисипи. Сидим на диване в капитанской рубке. Ночь. Огни. Локатор. На желтом круглом экране молочный контур реки. Наш корабль: мотор 9000 л.с., салоны, ванны, четыре палубы, кондиционеры. Он толкает вереницу барж, жестко скрепленных, они везут сахар, хромовую руду, железо. (1000 вагонов.) Сели мы в Новом Орлеане и поднимаемся вверх по реке. Плывем под тонкими мостами, похожими на гончих псов, вытянутые, поджарые, они повисли в прыжке через реку. Мигают огни круто взлетающих самолетов, высоко гудят газовые факелы. Река отделяет нас от шумной, суетной энергии суши. Река пустынна. Нет пассажирских пароходов. При всем желании мистера Маргулиса мы не могли устроиться на рейсовый пароход.

Капитан плавает здесь 36 лет. Крепыш, седой ежик, южный акцент. Он разговаривает по радио с женой – везет, мол, трех русских, пьет с ними водку: 50° + лед + содовая.

Делится своими политическими взглядами: «Мы, Америка и СССР, сойдемся против Китая...» Меня занимает свобода его высказываний, он шпарит без оглядки и про свое правительство, и про наше, и про ФБР.

Идет навстречу нам «Атлас», зачехленное корыто, цеппелин. Впереди военный катер, позади тоже. «Секретят, – сообщает капитан, – перегоняют новую ракету».

Американец рассказывает про своих школьных товарищей – немцев. Можно ли их винить, хотя они воевали против нас? Что они могли сделать? Мы не должны вывешивать «Немцам вход воспрещен!».

Русский американец встречается:

– Немцы и на Пискаревском кладбище, и в Освенциме весело фотографируются, чувствуют себя на экскурсии.

Розов:

– Все забывается, нет уроков истории, никто ничего не помнит и не желает помнить.

Русский американец:

– Аденауэр не торгуясь заплатил Израилю четыре миллиарда марок, то есть десять миллиардов долларов, за причиненное еврейскому народу. Он подписал этот договор, не имея полномочий, а потом добился ратификации.

НАУКА

«Если новые факты подтверждают мою теорию, это очень приятно, если противоречат, это крайне интересно».

Если наука недоступна математизации, то скорее всего это не наука.

Эти люди приходили к религиозности собственным путем, размышлением, через свою науку, вера далась им нелегко.

* * *

Жара. Жужжат мухи в лесу, где-то рокочет трактор. Березы не шелохнут. Сперва, как войдешь в рощу с поля, – прохладно, потом и тут своя жара настаивает, не полевая, в поле потная, с пылью, здесь же заходишь как в духовку.

Роща белоствольная, светлая. Кто-то окорил березку. Испод у нее гладко-бордовый, с шелковым блеском, генеральский. Ходят сюда за грибами, хоть и далеко. А я встретил девочку, она вдоль дороги набрала подберезовиков. Посреди клеверного поля на бугре эта маленькая роща как остров.

Красота полей и холмов, розовый луг, а не волнует, не томит, как в молодости. Знаю, что прекрасно, знаю, что мучительно прекрасно, но знаю больше воспоминанием, молодым, до слез, любованием. И за то спасибо, слава богу, что сохранилось страдание от этой невыразимой красоты, и теперь могу помнить молодые томления свои, хотя бы разумом помнить.

Так все, что было в сердце, переходит в ум, а ум не волнуется, он знает лишь, что это волнует. К старости ум и душа мучаются от неприятностей и страданий близких людей, вот это не утеряно, даже стало сильнее.

Если ты беременна, то это временно. Если ты балда, то это навсегда.

Начальник цеха:

– Баранов разве горит на работе? Нисколько не горит. Ничего на него не действует, не горит, и все. Всех, кто не горит, надо вывести на чистую воду.

ЛЫСЕНКО

Наука – источник несогласия, протестов, оппозиции, и это происходит несмотря ни на что, ни на какие репрессии. История лысенковщины – наглядный пример. Несмотря на террор, ссылки, аресты, изгнания с работы, сопротивление ученых не утихало.

Говорили открыто:

– Лысенко – агроном не для колхозов, а для чиновников.

– Без партийной поддержки Лысенко погибнет. Его науку можно развивать, когда исключают из партии, сажают.

Генетика все время опровергала лысенковщину, и ученые, молодые, старые, аспиранты, профессора, не могли ничего с ней поделать. В иностранных журналах появлялись новые и новые доказательства менделизма-вейсманизма.

То же самое творилось с кибернетикой.

Настоящая наука неумолима и к своим защитникам, и к противникам.

ТРОЯ

Гораций писал: «Жили герои и до Агамемнона многие, но все неоплаканные, сокрыты долгою ночью, ибо не нашлось для них вещего певца».

И в самом деле, на своем малом, мелком примере я убеждался – написал о А. А. Любищеве «Эта странная жизнь», когда никто о нем не писал, и началась публичная его жизнь, открыли его себе многие. Примерно то же случилось и с Н. В. Тимофеевым-Ресовским. «Зубр» помог оповестить об этом великом ученом. Конечно, и без меня они бы пробились на свет божий. Но позже, и в каком виде, не знаю.

Троянская война была одной из многих в греческой истории. Ее возвысили, сделали бессмертной поэтические сказания Гомера, он вывел из тьмы забвения эту войну.

Без своего Гомера ушла во тьму Первая мировая война. Может, потому, что лишена она была ясного смысла, но ушла. И финская, и афганская. Не нашлось на них ни своего Гомера, ни Льва Толстого.

Мой знакомый физик часто рассказывал мне о Сергее Ивановиче Вавилове, одной из самых трагических фигур сталинского времени. Брат, великий биолог Николай Иванович Вавилов, уничтожен лично И. Сталиным при лысенковщине. После этого Сергея Вавилова Сталин делает президентом АН СССР. Власть большая по тем временам. Сергей Иванович совершил открытия в оптике, в люминесценции, открыл «эффект Черенкова», «отдавая» ему Нобелевскую премию. Главная же заслуга его в те годы – он сумел убедить власть в значении науки, в необходимости развивать ее. Такие ученые, как Абрам Иоффе, Сергей Вавилов, Игорь Курчатов, может, не многое успели сделать, у них зато была другая историческая роль – они были «коллективообразующие личности».

На одном из заседаний Академии наук Сергей Вавилов должен был вручать какую-то медаль Трофиму Лысенко. Церемония происходила прилюдно, на сцене. Получив медаль из рук Сергея Ивановича, Лысенко обнял его и трижды расцеловал. Стало тихо и услышали, как кто-то произнес: «Иуда».

В Союзе писателей работал парикмахером Маргулис, личность легендарная, о нем ходило много анекдотов:

1) Он спросил у В. Катаева, правда ли, что тот был на аудиенции у римского папы. Катаев подтвердил. «И вы целовали ему руку?» – «Целовал». – «И что он вам сказал?» – «Он спросил – Катаев, у кого вы стриглись?»

2) «Когда началась война, меня спросили: что главное на этой войне? Я сказал: „Вижить!“»

3) «Я брил всех крупнейших писателей Советского Союза.

– А Ольгу Форш?

– Нет, ее нет».

4) Одна латышская писательница попросила достать несколько волосков Фадеева. Я ей достал.

«А я так и осталась с носом. Она, подруга, серая мышка, ничего в ней такого, а вот поди ж ты, выпало ей счастье. За что? Я прошляпила, упустила».

Они остались подругами, Оля навещала подругу, жгуче завидовала ее квартире, мебели, поездкам за границу, считала, это как бы отнятое у нее.

* * *

Есть мир идеального и мир реального. Я жил и действовал в реальном мире. В нем располагались наука, техника, работа. Идеальное, духовное – туда я не заглядывал. Там были вера, религия, оккультные науки, свои ученые, нет, это не моего ума дело. Считалось, что там шарлатаны, столоверчение или же разные религии, церкви, это для старушек.

Но вот заглянул, оказалось, там огромный мир, литература, тысячелетняя история. Душа – не обойтись без нее, раз есть душа, значит, есть ее свойства, ее жизнь...

Иной мир это не ад, не рай, это иное существование. Остается от человека – идея человека, может быть, то возвышенное, что могло быть в нем. Нереализованная любовь, то сострадание Господнее, которое остается для каждого.

«Люди делают свою Историю, не зная истории, которую они делают». На всякий случай я поставил эту фразу в кавычки, наверняка ее уже изрекали без меня, слишком она очевидна.

Теперь, досмотрев пьесу «СССР» до конца, видим, какой это был ужас и какая красивая надежда. Компартия – хорошо или плохо? Бессмысленные вопросы. Историю надо принимать как она есть.

В 73-ю годовщину Октябрьской революции на Дворцовой площади в Питере несли лозунг: «7 ноября – цена национальной трагедии!».

А за три года до этого, когда отмечали 70 лет Октября, на транспарантах было написано: «Слава великому Октябрю!».

А еще раньше над колоннами демонстрантов плыло уверенное: «Дело Октября будет жить вечно!».

Люди в 2007 году с удивлением разглядывают себя на аллее Истории. Они уже только зрители, не могут вмешаться, что-то они хотели бы изменить, подсказать, но их не слушают.

Диссиденты считали советскую власть прочной, они ее ненавидели, но не представляли, что она может рухнуть сама, без революции, без их прямого участия.

ВИНО

В английском пабе надпись:

«И здесь вы можете умереть, но не оттого, что не хватило вина».

Пивная у чехов:

«Сохрани воду уткам».

«Если между мужчиной и женщиной ничего нет, надо между ними поставить бутылку вина».

«Если правда в вине, то зачем воздерживаться».

«Лишь бы встретиться, а там – лишь домой добраться».

«Последний стакан лучше пить, когда уже ничего не жалко».

* * *

Нашел старое письмо читательницы. Елена Константиновна ушла из жизни, поэтому решаюсь опубликовать.

«Всем вам (писателям) уже пора пригласить и причесать свою вставшую с опозданием дыбом шерсть и заняться настоящим анализом – почему Сталин мог сделать то, что он сделал. Ведь уже и без вас люди понимают, что сделать он все это смог только потому, что такие же, как он, гады (в борьбе за личную власть), но менее коварные, чем он, помогли ему. А он их после этого истребил. Один гад пожрал других гадов. И, пожалуйста, не рассказывайте нам про Федора Раскольникова и „первую женщину революции“, которые сразу же после революции переселились в великокняжеский дворец и стали разъезжать в царском авто (вот когда все это началось). Раскольников говорил, что Сталин калечил их души? А было ли, что калечить? Все эти „вожди“ с первых дней революции присосались к власти, к сладкой жизни, поселились в Белом коридоре Кремля, в Доме на набережной, разъезжали в собственных вагонах. Говорят, Бухарин сильно рыдал, когда увидел на Украине опухших от голода детей. Но, наверное, отрыдавшись, он с аппетитом поужинал. А в это время (не в 1937 году!) голодали и умирали миллионы. На Украине в голод 1923 и 1933 годов умерло от голода не менее 3,5 миллионов, на Северном Кавказе – 1 миллион, всего около 7 миллионов. Точно установить нельзя, потому что запретили регистрировать смерть от голода. Мы никогда не узнаем настоящей цифры. Чудовищные меры были приняты к голодающим. Крестьяне бежали в города, их вылавливали и силой выдворяли обратно. Шла охота на умирающих. На железных дорогах задержали 65 тысяч, ловили на Украине, в ЦЧО, на Урале. Устрашали расстрелами. Об этом „мы“ не пишем, это неинтересно. Сейчас (постепенно и хитренько) из этих переродившихся „вождей“ типа Зиновьева, Каменева и иже с ними хотят сделать безвинно пострадавших овечек, которые „с ужасом и отвращением“ перешагивали через кровь товарищей по партии. Зачем же они перешагивали? А затем, что, когда не борешься за идею, а борешься только за власть и жирный кусок, хочется жить любой ценою. И эту цену они платили. Это отлично понял Сталин и всех их ухлопал поодиночке.

Нужно объяснить, наконец, народу, что чудовищный размах террора во время и после 1937–1938 годов был в первую очередь обеспечен Сталину в ходе показательных процессов – подлых спектаклей, разыгранных переродившимися „вождями“. Да, они не были ни шпионами, ни диверсантами, ни резидентами вражеских разведок. Они просто предали свой народ и партию, отдали их на заклятие. Пытаясь спасти собственную шкуру, они подыграли тирану и тем полностью развязали ему руки. После этих процессов уже можно было делать все, что угодно. Народ поверил. А во время массового террора погибли миллионы действительных жертв – жертв Сталина и этих людей. Были среди репрессированной верхушки стойкие люди, например – маршал Блюхер. Так его и расстреляли без всяких спектаклей через 18 дней после ареста.

Вот о чем нужно много думать и честно говорить без показного надрыва и фальшивых поз.

Рожкова Елена Константиновна».

Бывает добрый поступок – доброе движение души, а бывает состояние, качество, в котором живет человек, допустим, Наташа Долинина, моя Марина, Степан Сидорович,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Володя Фролов, я знаю много людей, у которых доброта – неотъемлемое качество, как запах у цветка или жар у огня. Доброта их не требует благодарности, она доставляет удовлетворение самому творящему.

1985 год.

Позвал меня к себе Владимир Николаевич Орлов. Шкафы у него книжные, что виселись до потолка, а потолки до четырех метров в высоту, шкафы эти переполнены стихотворными сборниками 1910–1920-х годов, уникальной поэтической библиотекой. Теперь шкафы опустели, книги вывозят в музей Блока, он им подарил, и картины свои, и всю коллекцию подарил туда же. О чем он мне говорил? Говорил, что жизнь его кончена, здоровье быстро уходит, не видит, ослеп, работать не может, память сдала, сердце сдает, думает, что этого года ему не прожить, и не жалеет, скорей бы умереть. Но вот что он мне хотел сказать со всей откровенностью: как же так, его, заслуженного писателя, который столько сделал для литературы, поднял из небытия Александра Блока, сделал «Библиотеку поэта», как же его не наградили вместе со всеми писателями? какого-то Шесталова, Холопова, какого-то Ставского, а о нем забыли. Почему ему не дали орден Дружбы Народов, ведь всем его дали, почему же Ленинград его не отстоял? И еще, как бы издать его книгу «Гамаюн», переиздать, он понимает, что сразу это невозможно, но хотя бы включить ее в план на 1986 год. Никакого противоречия в словах своих он не чувствовал и не замечал.

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

Однажды в Париже я был с Семеном Кирсановым. Поэт ныне подзабытый, а зря, у него был мощный талант словесной эксцентрики. Он выделял чудеса с русским языком, вот уж действительно у него язык блистал, поражал находками. Но рассказ мой не о том, а о том, как однажды он меня повел к своему давнему приятелю Сержу Полякову: «Как, вы не знаете, кто такой Поляков? Это знаменитый художник! Ну, Данила, вы меня удручаете».

Где-то в центре Парижа огромная квартира, может, целый этаж. Хозяин, хозяйка, какие-то люди, застолье, наши, русские, казачий хор, тоже знаменитый на весь мир, гастроли по всем столицам, и тоже – впервые слышу. Стыжусь, оправдываюсь своим невежеством, разумеется, личным, страна ни при чем.

Сам Серж веселый, бурный, переполнен гостеприимством, любит Кирсанова и меня за то, что я с ним, за то, что из Питера. Он из цыган, он то ли брат, то ли племянник Ляли Черной, про нее-то я слышал, звезда столичной «цыганщины». А про казачий хор мне позже рассказал «Зубр», это действительно прославленный на весь мир был хор Сергея Жарова. Составлен из эмигрантов-казаков.

Носился среди гостей малыш, внук Полякова, сын его русский француз, невестка из Индонезии, жена Полякова то ли англичанка, то ли француженка, какой язык в результате получится у внука – неизвестно.

Пировали весело, с песнями, шутками. Пили водку вперемешку с французскими винами. Потом Серж повел меня показывать свои картины. Абстрактные. А я тогда в этом никак. Что-то было в его картинах, но, когда он предложил мне в подарок какую-то, я отказался – нет, нет, что вы, да я ничего в этом не смыслю.

Когда вернулись в гостиницу, Кирсанов набросился на меня:

– Дурень ты отпетый, картина Полякова! Это же сокровище, целое состояние.

Много позже я убедился, что он был прав и в том, что это красиво, и в том, что Поляков действительно значительный художник. Я листал монографию о нем, что-то вспоминалось. Знакомая досада об упущенном, еще одно упущенное, счастливая случайность, мелькнула и исчезла синяя птица...

* * *

«Взглянул я на него, он на меня, уставились в зрачки друг другу, и продолжаем при этом свой разговор, но тут между глазами другой разговор появился – он твердо смотрит, и я твердо смотрю, получилось кто кого. И еще что, не только кто пересмотрит, а кто вообще прав, схватились глазами, никто не замечает, как мы схватились, а мы смотрим, говорим и смотрим, не отпускаем друг друга. И вдруг я опустил глаза, мог бы еще, а отвел. Отвел и понял, что проиграл. Почему отвел, не знаю, сразу же поднял, искоса так взглянул, но уже поздно, не то, проиграл,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru навсегда проиграл. Он тоже понял, что я проиграл, а он выиграл. Ах, раз так, то я отказал ему, отказал в его просьбе и за это к вечеру приказал выгнать его, гнать его беспощадно».

Он вспомнил о Нине, и она тотчас появилась перед ним с кудряшками своими, в черном свитерке с нахально торчащими грудями, он велел ей раздеться, она разделась, но ему стало скучно, и он отослал ее. Она удалилась в подzemелье памяти, туда, к другим женщинам, там их было много, которых он когда-то любил, иногда он вызывал ту или другую, остальное время они томились в ожидании своего появления. Когда Нина удалилась, он велел в памяти появиться одной рыбалке на Волхове, летней, с катерами, ухой, как они варили ее на острове, где-то у него была еще другая рыбалка на Вуоксе, целый набор рыбалок имелся в его распоряжении с малознакомыми людьми, чьи черты расплывались, с Марией, о которой не хотелось вспоминать, но она почему-то вертелась и все пыталась появиться перед глазами, больше всего было пойманных сигов, они возникали четко, в красках, вместе с рекой, порогами и берегами.

Телевидение непрерывно знакомит всех со всем. Все получают представление об археологии, о Черчилле, о торговле с Китаем, о ценах на полеты и, конечно, о причинах всех бед. Зрители начинают думать, что они знают и могут обо всем судить. Возникло телеобразование, телеобразованные люди, телеинформированные. На самом деле это елеобразованные и дезинформированные. Они уверены в своем праве рассуждать, обсуждать, выносить заключения о вещах, которые они «видели своими глазами», «были свидетелями». Например, пикет несогласных у Смольного о повышении квартплаты или против строительства башни Газпрома. Совсем немного людей, так снял оператор – десять, пятнадцать человек, на самом деле их было около тысячи.

Вероника, налитая так, что плоть повсюду заявляет, все в обтяжку, все бесстыдно выступает: зад, колени, бедра, ошалелые глаза, и самой стыдно.

У нее страх, что все кончится после близости. Сейчас самое нежное, лучшее, не похожее на других, а потом все станет как обычно, как бывало и у нее и у него.

Ему – близость нужна, тогда, он считает, наступит простота, естество, родственность, тогда он будет уверен: она принадлежит ему. Конечно, он понимал ее опасения, но надеялся, что потом они окажутся другими и все будет не похоже на то, что бывало.

Из всей нашей литературы я бы выделил четыре произведения, наиболее значимых – «Станционный смотритель», «Шинель», «Тамань», «Студент». В них сосредоточена и сила и глубина русской литературы. Они выделяются неразгаданностью, любовью к человеку, красотой, чудом языка и тайной многозначности.

Один из интереснейших советских кинорежиссеров Иосиф Хейфец загорелся идеей поставить фильм о ленинградской блокаде по материалам «Блокадной книги». В основе должен был быть дневник Юры Рябинкина, школьника, мы с Адамовичем почти полностью привели его в книге.

Было это в самом начале 1990-х годов, Алесь Адамовича уже не было на свете, и сценарий пришлось дописывать нам с Иосифом Хейфецем. Я говорю «пришлось», потому что Адамович взялся бы за сценарий куда охотнее меня, у него и получилось бы лучше.

Как бы там ни было, мы с Иосифом Ефимовичем начали работу. Заявку на фильм московское начальство приняло. Мы знали, что питерский обком настроен против «Блокадной книги», но полагали, что все же Москва тоже что-то значит.

Сценарий складывался, появились интересные придумки. Например, мы придумали «расклеящую плакатов». У нее только ведро и кисть. Она идет по заснеженному, замерзшему городу, обмотанная алым шарфом, душа Петербурга, ее не берут ни снаряды, ни бомбы. Худая от голода, «лицо ее – лик». Она олицетворяет призыв,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
пафос, стойкость.

«Весь эмоциональный рисунок актера перевернут, алогичен, безумен, – писал Хейфец, – и это норма для борющейся души. Умер близкий человек – нет стресса, а только забота, как похоронить».

Дальше такая запись:

«Вчера ленинградский руководитель Романов окончательно распорядился судьбой „Дневника“. „В книге Гранина и Адамовича, – изрек он, – нет широкой панорамы блокады, а взяты отдельные частные случаи. Цель страданий не ясна, а само страдание... зачем его показывать“.

Боже мой! Какие Митрофанушки, отрицающие все выходящее из ряда банальностей и общих мест... Одно успокоение: история, время накажут их, да жалко, я уже этого не увижу, не обрадуюсь этому».

И. Хейфец, замечательный режиссер, до этого не дожил, впрочем, и я тоже не сумел реализовать наш замысел. А мог бы быть наверняка хороший фильм, достойный памятник блокаде, я сужу по тому, с какой горячностью Хейфец готовился к этой картине.

«Цель страданий не ясна...» – какая может быть у страдания цель? Погибает близкий человек, ребенок, может ли быть цель у рыдающей матери? Абсурд, характерный для партийного робота, лишённого души, совести и просто понимания того, что творилось в блокаду. Это ленинградский руководитель. Взамен была поставлена эпопея по роману А. Чаковского «Блокада».

Достижения советской культуры кажутся не так значительны, как они казались для своего времени. Сегодня судить о них сложно. Надо понимать, что значил, допустим, Тендряков, или Твардовский, или Товстоногов в то время, когда они творили. Ныне же остается только текст или воспоминание. Нынешний текст Евтушенко «Бабий Яр» не может так поразить читателя, как это было в семидесятые годы. Однако трагедию Софокла «Царь Эдип» – вот ее можно смотреть сегодня, сопереживая сильно, чуть ли не до слез. И стихи Пастернака, такие как «В больнице». Значит, есть в произведениях временная составляющая, а есть вечная, а какая из них важнее и нужнее, вопрос бессмысленный.

«Бабий Яр» был откровением, заряжал мужеством. «Гренада» Светлова читается с исторической грустью, вот какие мы были наивные – вот, допустим, строка «Отряд не заметил потери бойца...» – вот так и было, не замечали потерь; «...чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» – своим не сумели отдать и постепенно из-за этого крестьян повывели. «Гренада» Светлова, «Соль» Бабеля – они документы истории, ибо история – это не факты и даты, а настроения, чувствования, заблуждения. Мечтали землю отдать в Гренаде, мечтал Нагульнов шолоховский, мечтал о всемирной революции. К примеру, рассказ Бабеля «Соль» читается сегодня совершенно по-другому именно потому, что он замечательно многозначен. Напомню, в рассказе в вагон поезда, где едут матросы, просится баба с ребенком на руках, ее из жалости сажает. Она едет с ними, а потом выясняется, что на руках у нее не ребенок, а мешок соли, который она везет для спекуляции. Ее выкидывают из вагона и пристреливают. Тогда, в те годы, это читалось как справедливое возмездие пролетарских законов времен гражданской войны, сегодня это воспринимается как жестокость тех лет. Рассказ круто переменяет свою суть, настолько, что наверняка автор не подозревал, как это может читаться спустя полвека.

Я слушал в школе, как ученица рассказывала, как Петр любил брить бороды бояр, рассказывала так, что Петр воспринимался как парикмахер, любил бороды брить и занимался этим, оставив все свои царские дела.

«– Вызывают меня на комиссию, боюсь, затрахают там меня вопросами.

– Ты сам затрахашь их своими ответами».

Вызвали мою дочь Марину на комиссию в райком по поводу ее поездки в Польшу.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Стали задавать ей вопросы. Спрашивают: как устроен польский сейм? Она пожала плечами:

– Не знаю.

– Но как же вы едете в Польшу и не знаете, а если вас спросят?

– Почему поляки станут спрашивать меня про свой сейм? – удивилась она.

На этот вопрос комиссия ответить не смогла.

Внутри себя он не видел ни морщин, ни седых волос, ничего из своего возраста. То есть он знал про это, знал, когда смотрелся в зеркало, но внутри у него ничего этого не было, так что он никак не был связан с тем зеркальным человеком, да к тому же тот и исчезал, стоило отойти от зеркала.

БЛУДНЫЙ СЫН

Для меня любимая картина в Эрмитаже – «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Я вижу на полотне всю эту притчу библейскую: блудный сын возвращается побежденным, на нем изношенное рубище, нищенское, грязное рубище бродяги, грубые стоптанные башмаки на босу ногу, босяк, мы видим его пятку, стоптанную от долгого хождения. Ничего не добился, голоден, бос. Вспомнил про родной дом и решился, пришел с покаянием. Все просто до этой минуты, вернулся, но куда? Он возвращался к тому, что оставил, для него дом, то есть прошлое, пребывало в неподвижности. Но нашел он совсем не то, что оставил, слепого дряхлого отца, перед ним само прошедшее время, утраченное, растроченное, время горести, ожидания, невозместимое, как невозместима слепота отца, выплакавшего свои глаза. Между прочим, в библейской притче отец не слепой, он увидел приближающегося сына, он узнал его. Рембрандт делает его слепым, вопреки Библии. Слепой отец узнает сына, узнает на ощупь, касаниями. Перед сыном зрима вина. Здесь начинается главное. Эта притча – рассказ об одной из самых трудных для понимания библейских моралей: «Раскаявшийся грешник дороже праведника». Отцу он сейчас важнее другого сына, который остался с ним, соблюдая все законы семейной морали, верно помогая отцу все эти годы. Так нет, бродяга, беспутный сын в этот миг дороже того, праведного. Ему закалывают тельца, к нему обращена вся любовь отца.

Однажды я спросил Александра Меня, как понимать вот это библейское правило: «Раскаявшийся грешник дороже праведника»? Он мне сказал примерно так: это объяснить невозможно, это надо прожить или прочувствовать, это не для понимания, это правило для души, если душа способна понять это правило, то тогда слова ни к чему, а одними словами не объяснишь. Тот, кто осознал свой грех, тот проделал путь непростой, многотрудный, как этот блудный сын, душа его претерпела муки, так было с апостолом Петром, трижды предававшим своего Учителя.

В «Блудном сыне» отец – сама любовь и радость прощения. Счастье вернулось в его душу. Слепое его лицо – одно из лучших изображений счастья, во всей его полноте. Мы не видим лица сына, может быть, он плачет, мы видим лишь отца, который не видит сына, его руки, он ощущает ими, даже не прикасаясь к сыну. Согнутая спина сына, он стоит на коленях перед отцом, перед нами его натруженная пятка, долог был путь домой.

Для Рембрандта библейская притча – непростая возможность дойти до божественной души человека.

* * *

Он вышел утром на улицу и увидел на снегу надпись «ДИМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Было морозно, солнечно, на ветвях сверкали замерзшие слезки, немыслимой чистоты березы подпирали голубое небо. «Какой счастливый этот дима», – думал он и вспомнил, как в школе Лена Солощенко, так ее звали, без конца писала ему записки, признаваясь в любви, а он смеясь показывал их друзьям. Она была не очень красивая, длинное такое, узкое лицо, а потом, после войны, он ее встретил, и она ему понравилась, но у нее было уже двое детей, и она с гордостью показала ему своего мужа.

И вот что рассказал ему однажды сосед по лагерной койке – зимой 1942 года сосед был в пересыльной тюрьме в Архангельске. В один из дней в камеру втолкнули двух

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru заключенных, одетых в хорошие телогрейки, ватные брюки, валенки. Один из них представился так: «Действительный член Академии наук, Почетный член Академии Нидерландов, Соединенного Королевства и пр., пр., Вавилов Николай Иванович». После этого они поведали о себе следующую историю. Они оба отбывали срок в одном из лагерей в районе Медвежьих Гор в Карелии. В один из дней 1942 года начальство лагеря получило приказ срочно уничтожить лагерь и эвакуироваться. Это было вызвано тем, что немецко-финские войска где-то прорвали фронт. В это время Вавилов и его спутник были больны тифом и находились в инфекционном бараке-изоляторе. Выполняя распоряжение, начальство лагеря уничтожило заключенных, примерно пять тысяч человек, но в панике забыло о двух тифозных и драпануло со всей охраной, не уничтожив лагерь. К счастью, наши войска ликвидировали прорыв и немецко-финские войска до лагеря не дошли. И вот Вавилов и его товарищ остались вдвоем в лагере. Пища, одежда, топливо были у них в изобилии. Они выжили, выздоровели. Поправившись и накопив силы, они решили двинуться к своим, на родину, на восток. В первом же населенном пункте они явились в отделение милиции, сказали, кто они, и изложили свою историю. Их тут же отправили в Архангельск, где их и определили в пересыльную тюрьму. Через двое суток Вавилова и его спутника ночью вызвали из камеры, и они больше не вернулись. Судя по времени вызова, Вавилов и его спутник в ту ночь были расстреляны. Больше никаких сведений об этой истории у меня нет, вполне возможно, что она относится к тем слухам и легендам, которые бытовали в связи с гибелью Николая Ивановича Вавилова.

Документально известно, что Николай Вавилов умер в саратовской тюрьме от голода в 1943 году. Однако примечательно появление подобного апокрифа, и не одного, не хотела память мириться с таким ужасным концом.

* * *

На маленького осла всякий сядет.

– Что пригорюнился?

– Да вот все думаю.

– Эх, брат, не за свое дело берешься.

– Что ты все один играешь, что, у тебя нет друзей?

– Есть один, только я его ужасно не люблю.

– Бедность не порок.

– Но и не добродетель.

По Стокгольму летали бабочки. Вот идеал городской жизни.

На его лице было все, что полагалось, что было отпущено природой: глаза, нос, щеки, но ничего своего, приобретенного. Круглое, как циферблат, только ничего не показывало.

Лично я теряла девственность не раз и всегда от этого получала удовольствие, а вот мужики, не понимаю, чего они так ее ценят.

Что мы пели, с чем шли на войну:

Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!
И с нами Ворошилов, первый красный офицер,
Сумеет кровь пролить за СССР
(Это прежде всего!)

...И танки наши быстры,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой родины сыны.
Смело мы в бой пойдём
За власть Советов
И, как один, умрём (!)
В борьбе за это.
(И что же будет?)

Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее!

ПАМЯТЬ

Один из американских друзей Владимира Набокова рассказал мне про любопытную черту домашнего быта писателя. Может быть, она известна литературоведам, но для меня это было откровением. Набоков старался не иметь вещей, большей частью он жил в гостиницах, пансионатах, вещи, считал он, привязывают к себе человека, отбирают у него память, а он оберегал свою память, особенно память детства, не хотел ни на что ее тратить, захламлять. Безытность хотел сохранить, она оберегала подробности его российской жизни, то, чего нельзя было возобновить, ибо река времен унесла и петербургский дом, и Рождествено, да и берлинскую жизнь тоже.

С домашними вещами мы вступаем в личные отношения, уже покупая их, когда выбираем, когда принимаем в подарок, когда они достаются в наследство. И позднее все время что-то происходит – жалею, когда они ломаются, ремонтируем их, сердимся на них, хвалимся.

Вещи быстро обрастают воспоминаниями: у меня за этим столом собиралась семья; в этом кресле сидел дед; эту вазу подарил такой-то и тогда-то; был Новый год, и мы собирались у елки и так далее. Набокова окружала чужая гостиничная мебель, и книги он брал в библиотеках и отдавал, не накапливая их и не имея личной библиотеки. Вся его память оставалась на родине, в России, и он хранил ее как главное свое сокровище.

БУДКЕР АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Академик, физик, камин, коньяк армянский. Узкие брючки, черная рубашка, самоуверенность, безапелляционность, судит обо всем быстро и категорично. Тип физика, раздражающего других беспощадностью своего анализа, скепсисом, обоснованным и тем не менее убивающим фантазии, философию и веру. Большей частью он прав, ему нужны только факты, точность эксперимента, он признает лишь то, что объяснимо, он презирует гуманитариев, знает литературу, искусство, правда, поверхностно, школьно, но вполне достаточно для того, чтобы быть на уровне. У него нет собственной философии, широты, иронии, его не мучают никакие противоречия, поиски решения моральных проблем. Он полностью оснащен для карьеры физика, и ее он получает непрерывно, став заведующим лабораторией, институтом, академиком и так далее.

Впечатление субъективное, может, пристрастное, но никак не отвергающее большой талант и ученого и организатора физики. Иногда он меня восхищал, иногда удручал.

* * *

Из читательского письма:

«Уважаемый Даниил Александрович, написать так, как было, это дискриминировать наш строй. Неизвестно, как отнесутся к Вам... Когда я встречаю бывшего крестьянина, моего возраста, он понимает меня с полуслова, а другое поколение, этот уже воспринимает по-другому... Вначале в нашей местности было несколько кулацких хозяйств. На учете в сельсовете было известно, сколько у них десятин земли, сколько лошадей, коров – это для начисления налога. Вот за это раскулачивали и должны были дать отчет, но остаются неучтенными свиньи, овцы, козы, куры, гуси и другая птица. А в амбарах зерно для употребления, для посева, для продажи. В кладовых крупа, мука, шпиг в больших кадках; а на чердаках колбасы, копченые окорока; в шкафах одежда, белье, простыни, одеяла, обувь; в буфетах утварь; в доме всякая мебель; в сарае телеги, сани, упряжь, сельхозорудия – я не перечислил и четверти оставленного имущества. Да это же Клондайк! А пожалуй, и нет. Там надо было поработать, а тут все двери настежь, двери кладовых, амбаров, шкафов, комодов. Бледнеет фантазия о скатерти-самобранке, головокружение. Зачем работать? Как все это переместить,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru освоить? Когда не стало кулаков, их надо было искусственно создавать. В деревне полоски рядом, почти одинаковые. Как такого хозяина назвать кулаком, если земли не много? Эврика, назовем подкулачником. Попробовали. Сошло. Прошло несколько лет – полдеревни как корова языком слизала. Что обозначает этот термин, подкулачник? До сих пор непонятно, но это давало повод раскулачивать. А на другом полюсе не удивились такому потоку. Людей с ярлыком „кулак“, „подкулачник“, „вредитель“, „враг народа“ можно в Колыму и в Соловки, туда – на бесплатный труд.

Тоже тема. Семья. Хозяйство. Старший сын женился, отделился, построил избушку. Семью раскулачивали, а этот уцелел. Жил скудно и незavidно, но очередь дошла и до него. Повод – родители высланы. Вывезли в райцентр, а там работники КГБ устроили взбучку: „Кулак, кулак одноногий, на костылях, зачем привезли инвалида? Там здоровые нужны. Отправляйте обратно“. И пока кулак на костылях добирался до дому двадцать километров, там произошли два события. Первое: раскулачивали – прилежно поработали, в избе не осталось даже ухватов. Второе: они между собою устроили открытую потасовку, каждый считался наиболее активным, претендовал на львиную долю.

Третья тема. Разведчик, Герой Советского Союза. В детстве родителей раскулачили, выслали в Тайшет, голодали, опухли, отец умер от голода, на очереди мать, подросток в отчаянии, надо спасать, но как? Пошел воровать продукты, особенно печеный хлеб, находил по запаху. Страшно, стыдно, а там мать, а голод гнал в ночную стужу. Пойман хозяином с буханкой хлеба. Понял, конец, хозяин прибьет или убьет. А хозяин привел его в комнату, всмотрелся в мальчишку, тоже ведь существо».

* * *

Я высказал свою точку зрения, которую я слышал.

Результаты этих опытов совпали до слез.

Нам надо возвращаться не только в своем собственном соку.

Ревизия – она тоже из людей состоит.

Ни на кого это не производит никакого сомнения.

* * *

В августе 1976 года я часто гулял по Комарово и Зеленогорску с Львом Эммануиловичем Гуревичем. Человек слепой, он, тем не менее, стал одним из крупных специалистов по современной астрофизике. Он мне много рассказывал об этой интересной науке. Говорил о том, что все специалисты-астрофизики все более склоняются к тому, что время конечно, пространство бесконечно, что кроме нашей Вселенной имеются еще и другие вселенные, что имеется асимметричность нашей Вселенной, ничем не объяснимая, что необратимость событий тоже ничем не объяснима, что закон сохранения энергии и прочие законы имеют место, возможно, только для нас, что, наконец, существует горизонт событий, то есть расстояние, которое лимитируется скоростью света и временем существования нашей Вселенной. Это расстояние ограничивает получение информации и радиус познания, так что имеются вселенные, которые мы принципиально не в состоянии познать.

Гносеология отошла к физике, осталась для философии онтология. Чтобы сказать что-то о мире, надо сегодня знать в совершенстве физику.

Существование человека – возможно, это случайность. Возникновение нашей Вселенной из раскаленного газа, возможно, было благодаря случайности. Возникновение планет в этой Вселенной – еще большая случайность, а без планет жизнь невозможна. Возникновение жизни на планетах тоже случайно. Биологи же считают, что сочетание ДНК и РНК, приведшие к появлению белка, вероятно, тоже случайность. То есть собрание всех этих случайностей, игра их привела к почти невероятному. Жизнь, следовательно, невероятность, вряд ли она еще где есть. Время существования жизни также ограничено.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Черные дыры – это, возможно, горловины иных миров, живущих в иных измерениях. Наш трехмерный мир – это ведь тоже не обязательное ограничение, могут существовать миры иных измерений. Так что через черные дыры мы, может быть, соприкасаемся с иными мирами. Но и только. Познать их мы не можем.

Слушая Гуревича, я вспоминал о Стивене Хокинге. Как странно и то, что оба они заняты проблемами астрофизики. Особенное впечатление на меня в этом смысле произвел Гуревич, слепой человек, который видит дальше нас всех, и перед его умственным взором, очевидно, в той темноте, в которой он пребывает, разворачивается жизнь не одной вселенной, а многих.

А слушая Алешу Ансельма, Мирона Амусью и некоторых других физиков, я видел перед собою другую, совсем иную, умышленную, кем-то задуманную вселенную.

ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС

Во время семинара одна дама докучала Л. Н. глупыми вопросами, не вытерпев, он ответил ей остроумно и едко. Она озлилась и в перерыве в буфете при всех сказала о нем: «Жидовская морда». Тогда Васильковский подошел к ней и спросил:

– Скажите, пожалуйста, кого я должен ударить по физиономии?

Она вытаращила глаза.

– Видите ли, – пояснил он, – женщин правила дуэли бить не позволяют, когда женщина оскорбляет, пощечину надо нанести мужчине, который отвечает за нее, – мужу, отцу, брату. Кто за вас отвечает?

– Вам какое дело! – закричала она.

– Товарищи, может, кто сам признается? – воззвал Васильковский.

Услышав это, муж дамы убежал, хотя Владимир Сергеевич Васильковский был маленький, хрупкий человек.

Все молчали. Тогда Васильковский сказал:

– Согласно дуэльному кодексу, автор Дурасов, если никто не признается, то считается, что женщина, за которую никто не хочет нести ответственность, не принадлежит к порядочному обществу.

Сказал он ей прямо в лицо.

СОЛИСТ

Криворотый маленький человечек скандалил в очереди, брал три кило творога, хотя все договорились брать по килограмму, потому как не хватало. Обозвал женщин и фронтовика-инвалида, оскорбил продавщицу. Я попытался пристыдить его, он отмахнулся.

Вечером я увидел его в Капелле. В хоре. Он солировал. В черном костюме. Пел вдохновенно Рахманинова. Ему подносили цветы. Я пошел за кулисы, хотел убедиться, тот ли это. Поздравил его. Дал ему цветы. Он узнал меня и обругал, выбросил мои цветы и опять стал мерзким.

– Мама, мы успеем вырасти? – спросили девочки-близнецы, имея в виду войну.

Человек, который откладывал себе всю жизнь деньги на похороны. Жил бедно, а за гробом шел оркестр, на поминках ели икру, балык, пили дорогое вино.

* * *

Как хороши бывают названия инструментов: киянка, клямер, буравчик, вороток, пробойник.

НЕУДАЧА

Кандидат наук, биолог, познакомился с бензозаправщицей. И так успешно ухаживал за ней, что однажды она устроила ему смотрины в день своего рождения. Решила представить его друзьям, ввести в свой круг. В ресторане «Тройка» собралась

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
элита – трое «лопатников» (это могильщики), затем банщик, напротив него сидела зеленщица, была еще девица, заместитель директора Мальцевского рынка, и диспетчер таксопарка.

Обслуживали их, как никого. «Что бы вы хотели?» – спросила диспетчер. Кандидат бухнул: «Земляники». И что бы вы думали – принесли, правда через 20 минут. От него потребовали анекдотов. Он рассказывал, но без успеха, не смеялись. Постные – сказал банщик.

Назавтра его заправщица позвонила. «Не понравился ты им, – сообщила она, – неестественный человек».

Все у нас носят мундир сверху или внизу под рубашкой.

Ей двадцать два года.

Она часами вертится у зеркала. Что ей там надо? Ничего, просто любит себя собой. Глаза затуманились, мерцают. Весело ей, напевает, выгибается и так и этак. Начнет мыть посуду, останавливается, подойдет к зеркалу. Все, что попадается, примеряет – косынку, плащ. Допробывается: как? идет? как фигура? Любые замечания о своей внешности – волнуют. Обычно не слушает разговоров, но если та-то красивая, у такой-то шубка новая – оживает. Ревнует ко всем – актрисам, певицам.

В технике немало случаев одновременного изобретения: Морзе – Шиллинг, Попов – Маркони и др. Однако невозможно, чтобы два художника, поэта создали одновременно одно и то же. Даже и разновременного этого не может быть.

Вряд ли я успею дописать эту книгу, но есть олимпийское правило: важна не победа, а участие, так что важен не конец, а работа, если не догоню, то хоть согреюсь.

На юбилее биолога Юрия Ивановича Полянского упомянули про лозунг для историков: «Не будем ворошить прошлое».

В ответном слове Ю. Полянский сказал: «Обычно отвечают, что всем хорошим я обязан своему народу, партии, правительству, книге, я же всем хорошим обязан своим родителям, отцу и матери».

«Меня одолевали антагонисты противоречия».

На фабрике было тепло. Тепло было сытное, оно пропахло печеньем, тестом, ромом, горелым сахаром, ликером, но главное, оно быстро согревало.

В 1944 году гауляйтер Кох запретил эвакуировать население из района Восточной Пруссии, находящейся под угрозой русского наступления: «трусость и саботаж».

То же самое, что было в Ленинграде в 1941 году, за три года до Коха, тоже городские власти осуждали эвакуацию: паникеры!

5 мая 1945 года на северо-западе Германии немцы капитулировали перед англичанами. Могли бы и перед нашими, и не было бы столько жертв у немцев, и у наших тоже.

ДИАНА

Англичане возлюбили Диану, она стала народной принцессой. В кинокартине «Королева» показано, как народ, английский, монархический, отшатнулся от законной королевы в сторону Дианы, произошел угрожающий кризис любви. Горы цветов у дворца в память Дианы, открытки, письма от осуждающих королеву.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Любили ли мы в России кого-нибудь так из правителей? Способны ли мы на такую любовь?

На моей памяти были огромные очереди к Таврическому дворцу:

Когда хоронили Кирова, Собчака, Лихачева – это в Питере.

А в Москве – к Сахарову. И знаменитая давка к гробу Сталина.

У гроба Кирова – плакали. Это было. Его любили. С другими было нечто иное: ощущение государственной потери. Диана – личное горе почти каждого англичанина.

ПАДЧЕРИЦА

Мы ехали с Николаем Губенко (тогда он был министром культуры СССР) на концерт памяти Моцарта. По дороге он сетует: на юбилее Грановитой палаты не было ни Горбачева – отказался, не в настроении, ни Ельцина – уехал на охоту. Не было их и на концертах под управлением великого Аббадо. Оркестр и дирижера прислали нам в подарок немцы, чтобы чем-то порадовать бедных русских. Подарок, конечно, хорош. Губенко рассказывает и одновременно пытается из машины дозвониться до канцелярии Горбачева, потом еще до кого-то, потом до своих замов, которые ждут его распоряжений. Вот так решаются какие-то судьбы культурной жизни. Роскошные машины, спецсвязь, власть, и в то же время понимаешь, что никому дела нет до культуры. Сколько их перебывало на его месте – хороших и разных, ни у кого не получалось не потому, что неспособные, а потому что до нее никому нет дела, ни до Аббадо, ни до Грановитой палаты.

Письмо читателя:

«...Вот Вы, Даниил Александрович, взялись за „ленинградское дело“, а его можно рассматривать по-разному. С Вашей стороны, это невинные жертвы сталинских репрессий, а с другой – из-за их разгильдяйства, глупости и медлительности погибло огромное количество людей».

Дальше он упоминает безобразную организацию оборонных работ, эвакуацию детей – когда люди попадали в лапы фашистам, «только за это все руководство города следовало уничтожить».

«...Вы посмотрите настоящее: один миллион сидит в тюрьмах, из них 150 тысяч за убийство. Убили академика Глебова в подъезде дома, чтобы отнять его нищенскую пенсию. Страна обезлюдела. 10 тысяч детей ежегодно продают за границу... А Вы „ленинградское дело“».

И дальше он приводит собственные стихи:

От меднолобых генералов
Сошла с ума Россия мать.
Они вопят об обороне,
На остальное наплевать.
Россия, а тебе не страшно
От меднолобых удалцов,
Всегда готовых в бой направить
Своих дистрофиков-юнцов.
* * *

Веласкес сделал портрет папы Иннокентия, тому не понравился. «Слишком похож», – сказал он. Действительно, неприятен.

Когда наша лаборантка родила двойню, прибор наконец заработал нормально. Что это было, никто не понял и никогда не узнает. Иногда он показывает какие-то дополнительные сигналы, и лучше его не поправлять.

Вы так долго уговаривали пролетариев всех стран соединиться, потом просили теснее сплотиться вокруг ЦК, потом говорили, что народ и партия едины. Все шло как нельзя лучше, и вдруг все разошлось кто куда.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

Меня учили, что реки существуют для электростанции, и если на них не построить плотины, то энергия их пропадет впустую. Мы стали считать, что природа бесхозяйственна, когда она нас не обслуживает. Мы уже не преклоняемся ни перед ее мудростью, ни перед мощью, ни перед гармонией.

Мы смотрим в свои карты, планируем комбинации, забыв, что у нее полно джокеров.

Он фотографировал закаты, собрал замечательную их коллекцию.

Природа смотрится в человека, как деревья в озеро. Подует ветер, но все равно изображение под рябью ждет своей минуты.

Моего друга Леку С. можно было отвлечь в любую минуту от работы. Погулять? В кино? Пожалуйста. Помочь? Ради бога. Процесс поиска, что постоянно идет у него в голове, нисколько не касается того, что он делает. Все это снаружи, внутри он продолжает работать, обдумывать свои полупроводники, ничто не мешает ему. Завидное устройство ума.

Иногда их увлекают странные задачи – как распространяется звук в киселе.

Вечером после заседания, где ему попало, он сел на трамвай и поехал до кольца, до Сосновки, там прошел по старому парку мимо стадиона к обрыву, куда они ходили гулять с покойной женой. Здесь кончался город, начинались поля. Было видно далеко. Ветер нес запахи молодой травы, теплой земли. Когда-то здесь он сказал, что любит ее, и сделал ей предложение. С тех пор они много ездили, уезжали в Сибирь, в Германию, приезжали, меняли квартиры, все сменилось в его жизни, а здесь осталось так, как было, и обрыв, и сосны, и бетонные надолбы – забытое наследие блокады. В небе происходил закат. Песчаный обрыв был освещен в упор, ярко-желтый, он озолотил и сосны, и проселок с канавами, и эти старые выщербленные надолбы. В небе догорали остатки солнца. Облака то рдели, то покрывались сиреневым золотом, неказистый этот пейзаж засиял, нарядился, краски бежали, переливались, и с каждой минутой сияние нарастало. Оно должно было вот-вот сникнуть, он это знал, его не удержишь, знал, что и в памяти такую красоту не удержать, и это мешало ему наслаждаться. Но все же он купался в золоте, ощущал его.

* * *

«Чем дальше в лес, тем третий лишней».

А вот другая на ту же тему:

«Чем дальше в лес, тем партизан толще».

Лизал-лизал начальственную жопу, а потом взял и укусил ее.

Если б он не работал, то так и считался бы хорошим работником, такое умение.

Эрмитаж несоразмерен нашей любви к искусству.

Прогресс есть воспитание человеческого рода (Лессинг).

Прогресс – развитие производительных сил (Ленин).

Прогресс – это увеличение срока человеческой жизни (Любищев).

Последнее определение мне симпатичнее других.

СТИВЕН ХОКИНГ

Я виделся с ним в Кембридже. Это, может быть, там самый известный ученый, он

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru полностью парализован. Меня познакомили с ним на улице. Он ехал на коляске. Управляет он ею через компьютер пальцами одной руки, единственное, чем он может двигать. Он не может не только двигаться, но и говорить. Через компьютер он читает лекции. Главное в нем – действующий мозг, мозг на коляске. Его жизнь – свидетельство того, что может человек и что может преодолеть человеческая воля. Он крупнейший специалист по астрофизике. Если бы его не постигло несчастье, может, он так бы и жил физическим шалопаем. Зачем ему было достигать? Есть масса удовольствий, ездил бы, путешествовал, читал лекции, трахал студентов. Впрочем, почти все это он делает. И более того. Создал теорию, оставил на своей коляске многих крупных физиков.

Все же безграничны возможности человека. Мы понятия не имеем, на что способен наш организм, наш ум, наша воля.

На подлокотнике его кресла укреплен компьютер, где есть синтезатор речи. Можно вести диалог, читать лекции. Черные дыры, космология – его специальность, он стал в астрофизике корифеем. Сегодня, в 2007 году, ему 65 лет. Окончил Оксфорд. «Хокинг свои „подвиги“ совершил после того, как его разбил паралич», – писал В. в своем очерке о Стивене.

Ему в какой-то момент удалось по-своему объяснить теорию относительности и квантовую механику. Доказал, что черные дыры могут излучать и энергию и массу.

Как большой ученый он в результате, после всех открытий, может признаться, что не знает, «почему возникла наша Вселенная».

Я сопровождал его несколько минут в его прогулке по Кембриджу. Коляска на аккумуляторах резво катилась, прохожие раскланивались с профессором. Он чувствовал себя одним из них, из прохожих, из обитателей университетского городка. А я все не мог успокоиться. Возможности человека не давали мне покоя. Мы не имеем понятия, каковы пределы нашего мозга, нашей воли, наших сил. Я столкнулся с этим, еще изучая поведение наших блокадников. Такой пример: от голода умирает мать двоих детей. Она, как могла, выхаживала их, но больше нет сил. Организм истощен до предела. Она понимает, что умирает, во время блокады ощущение смерти у людей стало безошибочным, приближение ее слышали, знали заранее – умру вечером, ночью, и она приходила без опозданий.

Но вот что произошло – дети, оба малыши, стали тормозить ее: мама, не умирай, просили, плакали, и она продержалась еще два дня, а тут пришел военный от мужа, принес сахару и пшена. Так она выжила.

СТИРАЯ ПЫЛЬ

Году в 1970-м попался мне старый, двадцатых годов, альманах «КОВШ». Полистал, наткнулся на повесть Василия Андреева «Волки». Имя ничего мне не говорило, проглядывал повесть без интереса, как вдруг что-то зацепило, блеснуло. Вернулся к началу, прочел ее залпом. Обрадовался замечательной, крепкой прозе, в ней и жизнь тех лет, и язык, и мысль авторская, ничего не устарело. Еще живы были писатели, кто помнил начало советской литературы, литературный Петроград, – Михаил Леонидович Слонимский, Геннадий Гор, Юрий Герман, Юлий Рест и другие «хранители огня», они знали Василия Андреева. О нем ходило тогда немало легенд. Полузабытые, траченные временем, они рисовали человека самобытного, чудаковатого. Он появлялся в их рассказах пьяным, с издевкой над литературным этикетом, с вызовом всем корифеям. О нем ходила занятная история: будучи сослан в Туруханский край за участие в революционном движении, он прожил там четыре года – с 1910-го по 1913-й, обвиняли его по делу об убийстве жандарма. Там он познакомился с известным большевиком иннокентием Дубровским. О нем впоследствии написал книгу, еще – воспоминания о ссылке, но все это, кажется, не сохранилось. Самое же любопытное, что познакомился он в этой ссылке со Сталиным и одолжил ему свою шубу то ли перед отправкой Сталина по этапу, то ли когда Сталин решил бежать, но в общем произвел такой широкий жест и подарил со своего плеча шубу будущему вождю всех народов. В двадцатые годы он не бедствовал, его пьеса «фокстрот» с успехом была поставлена в двадцать четвертом году, пьеса была об уголовном мире. Писатель Леонид Радищев вспоминал: «Его не включали ни в одну из обойм, он не состоял в группировках, не ходил на заседания, не состоял в редколлегиях, не сообщал, „над чем я сейчас работаю“». Разумеется, его ругали за интерес к «никчемным людишкам», не нужным для революции. Требовали перейти от уголовно-люмпенских тем к широкому социальному охвату. Однако постепенно Андреев спивался, перед войной его перестали издавать. Будучи совсем без средств, он

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru решил напомнить товарищу Сталину про свой «заячий тулупчик» и, представьте себе, попросил помощи, разумеется, материальной, так и написал. И как мне рассказывали, даже получил ответ. Но тут сведения расходятся. Одни говорят, что ответ был строгий и холодный, через обком партии, другие, что ответа собственноручного не было, а его пригласили органы и посоветовали со своей бестактностью умолкнуть. Во всяком случае, не было того, чтобы товарищ Сталин обрадовался появлению старого приятеля, пригласил к себе, отправил его в «Торгсин» выбирать любую шубу. А было следующее. В 1941 году, через несколько месяцев после начала войны, Василий Андреев исчез. Вышел из дома и исчез. Больше о нем ничего не известно. Был какой-то слух, что его вывезли на самолете, но слух совершенно ненадежный.

В биографии его много невнятного, никто им не занимался, а когда займутся, то вряд ли сумеют что-то восстановить.

Василий Андреев относится к литературе не запрещенной, не связанной с репрессиями, это скорее литература упущенная. Большой слой литературы 1920–1930-х годов не переиздавался, не выходил после рокового тридцать седьмого года. Естественное течение литературного процесса было прервано. Одним из таких удачных писателей оказался Василий Андреев. При жизни им было издано примерно десять книг повестей и рассказов. Они неравноценны, но в лучших из них есть жизнь городских низов, воровской мир, кабаки, пивные, питерские окраины тех лет. Видно, что писатель превосходно знал эту среду, сочный ее язык, ее обычаи, мораль. С некоторым усилием мне удалось издать книгу Василия Андреева в издательстве «Художественная литература».

В зеркалах прошлого то и дело мелькнет облик сегодняшнего дня. Повесть «Волки» и лучшие рассказы, в том числе и детские, для меня стали счастливым открытием.

Несправедливо забытых писателей, если пошарить по сусекам советской литературы, – немало. На моей памяти «утонули» в Лете Дмитрий Остров, Леонид Соловьев...

ВАНГА

Жена одного болгарского деятеля прикидывала, с кем ей надо встретиться, кого пригласить, кому что сказать для того, чтобы муж получил орден. С этими вопросами она пробилась к Ванге, знаменитой болгарской ясновидящей. Примечательно, что та даже не дослушала ее и выгнала, сразу поняла, о чем речь, это был позор на всю Болгарию. Ее боялись, хотели о себе узнать, но боялись, что она узнает то, что они не говорят и скрывают. Феномен Ванги ученые боялись исследовать. Одному из них, скептику, который допрашивал ее, она вдруг сказала: «У тебя рак, ты через несколько месяцев умрешь». Так и было. Я спросил ее, как она отличает мертвецов от живых, она же утверждает, что видит мертвецов, она сказала: «Это очень просто, мертвецы, они парят над полом, над землей, они не стоят на земле, так что сразу видно – живой или не живой».

Искали мальчика, пропал. Она сказала, что утонул, и сказала где. Там и нашли труп. А другой сказала, что мальчик вернется. И действительно, вернулся. Отец хотел ее богато отблагодарить, она отказалась. Единственные подарки, которые она принимала, были куклы. У нее не было детства, она ослепла в 11 лет, ослепла от удара молнии. Узнала сама про свой дар. И другие дети, ее друзья, узнали, потому что она говорила: иди домой, тебя мама ищет, козел ваш забрел в чужой огород. Никогда не принимала развратников. Вдруг говорила: а ты убийца, задавил на дороге тогда-то человека. Вдруг говорила: тебе достал лекарство Камен Калчев, как его здоровье, он ведь болел. Каждый раз сомневались, не случайность ли ее знания, не подсказал ли ей кто. Но вот мне одна болгарка рассказала, что Ванга сказала ей, что она родилась, обвита пуповиной. Никто, кроме матери, этого не знал.

Сам я побывал у Ванги, будучи в Болгарии. Поехал я к ней вместе с заместителем главного редактора «Литературной газеты» Изюмовым. Его тогда волновал вопрос, куда пропал сотрудник газеты Олег Битов, уехал за границу и пропал. Шуму было по этому поводу... У нас ведь как, без вести пропавший – это всегда подозрительно, не о несчастье думают в первую очередь, а о том, что или к врагам перешел, или похитили, или что-то в этом роде. Так вот он надумал по сему поводу обратиться к Ванге. А мы жили тогда в Доме журналистов в Болгарии. Я сказал: «Юрий Петрович, я хочу с вами поехать». И мы отправились. Жила она в какой-то дальней деревне, где и говорили-то на немислимом болгарском диалекте, так что надо было брать с собой переводчика. Изюмов все это организовал, поскольку визиту он придавал

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
государственный характер. Добрались к вечеру. Принимали нас без очереди. Не знаю размеров очереди, но записывались к ней загодя, и вообще, насколько я понял, доступ к ней был через какое-то казенное ведомство, которое то ли регулировало, то ли фильтровало.

Нам рассказали, что еще в детстве люди узнали про ее способности, когда она в деревне помогала найти заблудшую корову, говорила: ищите там-то и там-то, что-то определяла насчет болезней. Очень быстро весть о ее странном даре обошла Болгарию, а потом вышла за пределы страны. Способности ее непрерывно подтверждались и выглядели чудесами.

Леонид Леонов, писатель, который посетил ее до нас, рассказывал, как во время разговора с ним она вдруг спросила: «А почему ты не посещаешь могилу своей сестры?». Леонов удивился, никакой сестры у него не было, но Ванга настаивала, и, уже уехав, он вдруг вспомнил, что в самом раннем детстве действительно была сестренка, которая умерла маленькой, он начисто забыл про нее.

Итак, нас провели в дом Ванги, посадили в плохо освещенной комнате, меня в дальнем углу. Ванга вошла, уселась за стол. Это была уже старая женщина, слепая, двигалась она уверенно, но все-таки осторожно, была при ней спутница. Обе одеты по-крестьянски, в той незаметной одежде, про которую никогда не вспомнишь, какая она. Изюмов сидел за этим столом сбоку от нее и сразу же начал ее выспрашивать про своего пропавшего сотрудника. Она отвечала не очень охотно, переводчик переводил, сказала, что найдется, что он живой. Вернется, не беспокойтесь. Изюмов, очевидно, хотел подробностей, не захватила ли его какая-то организация, какая могла быть это организация, но ничего он от Ванги не мог добиться. Все его чисто следовательские вопросы она отклоняла: «Жив. Вернется». – «Когда?» – «Да вскоре». Чего-то он еще спрашивал, чего-то она еще отвечала без особого интереса и вдруг повернулась в мою сторону и спрашивает: «А ты чего там пишешь?». А я действительно тихонько записывал, поскольку некоторую волшебность происходящего скорее не ощущал, а понимал головой. Меня удивляло, что Ванга отвечала ему как-то буднично, не было никакого колдовства, не прислушивалась, не производила пассов руками, а впечатление было такое, как будто она этого журналиста встретила недавно в деревне, как будто он сказал ей: «Да-да, скоро вернусь...», то есть была у нее уверенность человека, для которого все это настолько очевидно, что не представляет интереса.

Откуда она могла узнать, что я там пишу? Я тихонечко, абсолютно бесшумно водил карандашом по бумаге. Я ответил, что я, мол, писатель и мне интересно то, что происходит. «Откуда ты?» – спросила она. Я сказал: «Из Ленинграда». – «Из Ленинграда?» – Она задумалась и сказала примерно так: «Это город, который еще будет много значить».

Мне показалось, что она вообще впервые слышит название Ленинград.

Как это понять – «много значить»? Она сказала: «Но больше, чем сейчас», что-то в этом роде. Признаюсь, вспомнил я об этом только в последние годы, когда у нас самонадеянно стали называть Ленинград культурной столицей и когда его значение действительно поднялось. Не знаю, относилось ли это к нынешнему состоянию города или к тому, что еще произойдет. Тогда я на это высказывание как-то не очень обратил внимания, а вот другое, что меня поразило, следующий ее вопрос, она сказала: «А кто такая у тебя Анна?» Поскольку «у тебя», то мысли мои направились совершенно в другую сторону, я сказал: «У меня нет никакой Анны». – «Нет есть», – сказала она. Я говорю: «Как так?» – «Да вот она тут». Опять же, я не совсем точно цитирую. И тут я вдруг сообразил, я говорю: «Это моя мать. Она умерла уже, ее нет». – «А-а», – сказала она. И тогда я ее спросил, потому что мне было странно, что она говорит «вот тут она», я ее спросил: «Как вы отличаете живых от мертвых, живой человек или не живой?» Она сказала: «Это очень просто. Живой человек, он ходит по земле, а мертвый над землей». Еще она мне что-то сказала, вроде как упрекнула, что я редко бываю на кладбище у матери. Между прочим, и в разговорах с другими тема эта повторялась. Но самое невероятное, конечно, было ощущение то, что она как бы почувствовала или увидела мою мать, и это ощущение больно отдалось во мне: почему мать явилась к Ванге? Это меня поразило более всего. Из тысяч имен она выбрала «Анна», самое близкое мне имя.

Вот, собственно, и все. Олег Битов действительно вскоре объявился. О Ванге я услышал там, в Болгарии, еще множество чудес. Но для меня этого свидания было достаточно. Достаточно для чего? Для того, чтобы никаких сомнений у меня не

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
осталось, и более того – чтобы никаких объяснений не было.

Я ничего пояснить не могу, никакой мысли о совпадениях, случайностях, а тем более о шарлатанстве у меня не было и быть не может. Это то невероятное, которое, конечно, нуждается в осмыслении, в исследованиях, в изучениях, но, увы, оно с ходу отвергается нашим рационализмом, ученые всерьез не хотели заниматься этим явлением, наши ученые тем более. Отчасти я их понимаю, у них не за что зацепиться, нет подходов научных, грубо говоря, они не хотят связываться с этим чудом. Мы не хотим чудес, боимся их. Из всех сил держимся за разум, беспомощный перед будущим. Революция информатики, сексуальная революция, вдруг рухнула одна шестая мира, железобетонная конструкция коммунистического режима, вдруг поднимается мощь коммунистического Китая. Разум на ощупь бредет во тьме, откуда появляется непредвиденное, то чудовища, то откровения. Научные попытки футурологии, социологии бессильны. Возвращается древнее, чувственное, идущее не от познания. Это то, чего достигали кудесники, шаманы, поэты, пророки, такие, как слепая Ванга.

Вера в Вангу – это вера в человека: «Все в человеке».

Ее спросил болгарский писатель: что ели гладиаторы, как себя вели люди Спартака? Ванга рассказала, что она видит: как они сидят, что едят. Она словно включает телевидение, которое показывает; прошлое или будущее для нее без разницы. Этот болгарский писатель получил от нее полное представление того, что он не мог вычитать ни в одной из книг.

ЧЕХИ

1998-й, август, 30 лет со дня разгрома в Чехословакии «социализма с человеческим лицом», правительства Дубчека.

У чехов все происходит по-чешски, у них всегда есть что-то от Швейка.

В 1968 году, когда происходили чешские события, были вывешены плакаты с надписью: «На веки вечные с Советским Союзом» – и тут же появились надписи на плакатах: «И ни часом больше».

В кино показывали, как встречаются Брежнев и Гусак, целуются трижды, из зала голос: «И в жопу».

Когда Дубчека вызволили из тюрьмы, его привезли на митинг на площадь, там собралось почти 500 тысяч народу. Было утро. Его вывели на трибуну, он не знал, что сказать, с чего начать, он начал так: «Еще вчера я ужинал в тюрьме...», и вдруг площадь закричала: «А что было на ужин?» Это возможно только у чехов. Мудрость Йозефа Швейка – гениально подмеченная мудрость чешского человека. А что такое мудрость? Применительно к чехам, или по Швейку, это свой взгляд на вещи. Самый простой, неожиданно простой.

Чех Дроздовский рассказал:

«После прихода танков в Прагу я сказал себе, что по-русски больше говорить не буду. Меня отовсюду выгнали. Устроился мойщиком окон. Шли годы. Однажды мою окно, подходит группа русских туристов, спрашивают, где тут универмаг. Я отвечаю, что по-русски говорить не хочу.

– Почему?

– Это после 1968 года.

Они удивились:

– А что было в 1968 году?

И я понял глупость своего зарока».

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ

Академик Евгений Борисович Александров рассказывал мне о своем дяде президенте Академии наук СССР с 1975 по 1986 год Анатолии Петровиче Александрове. Трижды

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Герой Социалистического Труда, лауреат многих премий, талантливейший физик и далеко не простая личность. Анатолий Петрович интересовал меня своим отношением к А. Сахарову.

Было одно обстоятельство в жизни А. П. Александрова, которое определяло, по-видимому, кое-что в его поведении. В 16 лет, по сути подростком, он служил у Врангеля. С тех пор страх, что об этом узнают, сопровождал его. Характер у него был крепкий, страх не мог согнуть его, но и отделаться от него было трудно. Случай типичный в советской жизни, что-то такое этакое имелось у многих. Почти любой из моих друзей что-то скрывал или имел какую-то бяку. Отец раскулачен, дед был домовладелец, у жены брат был троцкист, у этого (под большим секретом) тетка родственница Махно.

Из рассказов Евгения Борисовича Александрова:

Сахаров дядю раздражал. Из-за него, полагал он, будут репрессии, не думает о людях. Нобелевский лауреат академик Басов тоже возмущался: «Ходит ваш Сахаров в белых одеждах, а мы из-за него в дерьме, фактически это мы спасаем интеллигенцию, науку, Академию!»

«Сахаров не поддавался внешнему влиянию, герметичность его природы была исключительно высока. В США проводили испытания независимости человека. Через 3, 5, 10 человек любой испытуемый уступал их абсурдным уверениям. Сахарову понадобились бы сотни подговоренных».

Анатолий Петрович был против высылки Сахарова в Горький, но считал, что это не самый плохой вариант, могли подстроить автомобильную катастрофу или запереть в психбольницу. Как-то дома он сказал: «Я не верю человеку, который бросил своих детей от первой жены и сейчас голодает из-за того, что не выпускают за границу невестку сына его новой жены». И однако Анатолий Петрович пошел к Брежневу в связи с голодовкой Сахарова, когда ситуация была близка к критической. Брежнев дал согласие на отъезд невестки, и Сахаров прекратил голодовку.

Евгений Борисович рассказывает, что «наиболее интенсивная общественная деятельность Сахарова пришлось на годы президентства Александрова в Академии наук». Александрову приходилось отвечать на вопросы журналистов, иностранцев, улаживать скандалы и удерживать власти от репрессивных действий. Из-за этого в нем нарастало постоянное раздражение против Сахарова, он не скрывал своего недовольства действиями Сахарова, считал их общественно опасными, боясь, что «они могут спровоцировать новую волну репрессий, направленных на Академию наук и интеллигенцию в целом». Хорошо зная партийный олимп (в отличие от Сахарова), он ясно видел наивность попыток Сахарова внушить руководству идеи о необходимости перемен.

«Я думаю, что среди членов Академии не менее половины были настроены против Сахарова, особенно среди старшего поколения. Его действия пугали академиков перспективой репрессивного наведения порядка в Академии. Кроме того, фронда Сахарова выставляла множество академиков в неприглядном виде, когда их вынудили публично отмежеваться от Сахарова, чья правота мало у кого из них вызвала сомнение».

Тем не менее Академия не сдала Сахарова как своего члена, не исключила его из Академии несмотря на все усилия властей. В большой мере давление власти испытывал на себе прежде всего Анатолий Петрович. Защитил его именно Анатолий Петрович, какие бы легенды по этому поводу ни ходили, – говорил мне Евгений Александров. – Хотя Анатолий Петрович почти никогда не обсуждал дома конфиденциальные темы, я оказался первым слушателем его рассказа о дипломатическом триумфе на собеседовании в Политбюро ЦК. Анатолий Петрович не называл имен:

«Меня спрашивают:

– Есть ли в уставе Академии процедура лишения звания академика?

Я отвечаю:

– Есть. С формулировкой „За действия, порочащие звание и т. д.“.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

Меня спрашивают:

– Так за чем дело стало?

Я отвечаю:

– Видите ли, по уставу Академии, все персональные вопросы решаются тайным голосованием на общем собрании, и я не уверен, что две трети академиков проголосуют за исключение Сахарова. Может получиться громкий политический скандал.

Меня спрашивают:

– А нельзя ли организовать открытое голосование? В этом случае академики не пойдут против линии партии открыто.

Я отвечаю:

– Для этого надо изменить устав Академии.

Мне говорят:

– В чем же дело?

Я отвечаю:

– Видите ли, по уставу Академии, любые изменения устава утверждаются тайным голосованием на общем собрании, и я не могу гарантировать, что две трети академиков проголосуют за такое изменение.

И тут они от меня отстали, – закончил Анатолий Петрович, очень довольный собой».

Евгений Александров рассказывал, что при микрофоне или магнитофоне Анатолий Павлович становился косноязычным, терял непосредственность.

* * *

Кого изготавливала советская жизнь? Я сам хороший пример.

Все принималось как должное – история не допускала разных толкований. Было три революции. Цари все плохие, Гегель, Фейербах, Ницше – все они, сколько их было, имели серьезные ошибки, не заблуждались только Маркс, Ленин, Сталин. Это у нас в России изобрели паровоз, радио, аэроплан, телевидение, электрическую лампочку, правда, насчет автомобиля никак не получалось. Все остальное – в России. Закон сохранения вещества, рефлексы, «таблицу Менделеева» – у нас, мы первые – Ломоносов, Попов, Павлов, братья Черепановы, Василий Петров, Яблочков, Можайский.

Господи, сколько фамилий в нас впахивали – все первооткрыватели, которые чуть-чуть, но обогнали Запад. Во всяком случае творчески – мы самые. Мы никогда не отдавали должное американцам, которые так быстро создали великую страну, прочную демократию, великую науку, литературу, кино. Они помогли нам выиграть Вторую мировую войну, они спасали голодающих Поволжья в 1920-е годы. Об этом не вспоминаем. В наших энциклопедиях и учебниках нет ничего о голоде на Украине, о расстреле в Новочеркасске, Ленский расстрел 1912 года есть, а про советский расстрел, рабочих в Новочеркасске, ни слова.

Все это впахивали в меня ежедневно, годами – радио, семинары, агитаторы, газеты, книги, и ничего другого, никаких разночтений.

ЗАЧЕМ ОНИ НАМ

Все чаще я чувствую ненужность гражданина в своей стране. Гражданские чувства, гражданские требования, гражданское поведение – зачем? Начальство это только раздражает. То марш несогласных, то выступления против строительства башни Газпрома в Санкт-Петербурге, то жалобы на отсутствие бесплатных лекарств, на плохие дороги, на низкие пенсии, на телевидение...

– Они всем недовольны. Что мы для них ни делаем, все им мало. Каждый день показываем, что правительство заседает, обсуждает нужды страны. Думу показываем,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
кое-кого снимаем с работы, стали арестовывать, нет, недостаточно.

- А нужен ли вам вообще так называемый народ?
- Хороший вопрос.
- В самом деле, чего вы с ним возитесь? У вас есть трубы.
- Две трубы! Газовая и нефтяная. Есть еще лес.
- Хватит.
- Вполне.
- Ну так что же, какая вам польза от народа?
- Это верно, пользы никакой, но все же неудобно как-то. И что скажут за границей?
- Да плевать. Им важно, чтобы две трубы исправно качали. Думаете, им ваш народ нужен? Им и свой осточертел.
- Надо подумать. Что-то в этом есть.

ШОСТАКОВИЧ

Шло очередное заседание в отделе пропаганды ЦК КПСС, это было даже не заседание, а совещание. Председателем был Леонид Федорович Ильичев, секретарь по пропаганде, фигура страшноватая по тем временам и любопытная. Это он науськивал Хрущева на художников, на писателей, поэтов, на всех тех, кто, по его разумению, не хотел укладываться в идеологию соцреализма, впрочем, при его цинизме ему, конечно, было наплевать на соцреализм, ему важно было показать свою бдительность, рвение. Совещание проходило уже после разгромных обличений, которые он режессировал для Хрущева на выставках художников в Манеже. Совещание шло более или менее мирно, даже начало переходить в ту сонливую скуку, свойственную такого рода заседаниям, когда речь шла о том, что надо произведений больше хороших, разных, особенно пьес, особенно песен, особенно романов, все особенно. И вот объявляет Ильичев: «Следующим выступает Дмитрий Дмитриевич Шостакович, председатель Союза композиторов России». Поднимается на трибуну Дмитрий Дмитриевич, поначалу он отдал дань обычной жвачке: да, действительно надо повысить, усилить, а потом вдруг свернул в сторону и рассказал. «Недавно, – сказал он, – вызвали меня в ЦК и говорят: надо поехать в Соединенные Штаты на какой-то конгресс. Я отказываюсь, объясняю инструктору ЦК, что, мол, лучше послать кого-то другого, у нас немало хороших композиторов, а я не могу ехать, я сейчас работаю, у меня в разгаре сочинение, которым я занят. Вы знаете, что он мне ответил? „Дмитрий Дмитриевич, вы уже много насочиняли, мол, хватит вам, вы имеете полное право теперь отправляться в командировку, тем более, что она необходима политически“». Зал загудел. Шостакович, наверное, мог бы добавить, что, когда такое говорят любому творческому человеку, это непереносимо, но он, как великий художник, понимал, что лучше недосказать, чтобы люди сами себе досказали и додумали, что из себя представляет партийное руководство.

Явление Шостаковича знаменательно тем, что появился и вырос в нашей советской жизни гений, абсолютный гений. Гениальных художников советская жизнь не умела создавать, не рожала, а если он и появлялся, то все делала для того, чтоб его либо обстричь, либо уничтожить. Шостакович, однако, сумел просуществовать всю свою жизнь в советской действительности. Как писал музыковед Раискин: «Мы – музыканты, просвещенные слушатели – ощущали себя „внутри“ великой музыки. Шостакович был частью нашей жизни, его симфонии я бы назвал симфониями общей судьбы». Это точное определение. Ощущение общности судьбы свойственно было нашей советской жизни, произведениям, которые приоткрывали общую правду, общую боль, общий гнев на несправедливости режима. С радостью мы открывали правду в живописных полотнах Петрова-Водкина, Фалька, Васильева и других художников, нарушающих догмы соцреализма. Это были Лентулов и Филонов, это были стихи Ахматовой, и Мандельштама, и Цветаевой, и книги Булгакова, Платонова, Зощенко. Эти произведения мы воспринимали общностью чувств. Читатели, зрители ощущали общность своей судьбы, общность мыслей, взглядов. Это было особое состояние единства, свойственное той советской жизни, где каждое свободное слово преследовалось цензурой и прорывалось сквозь неслыханные ныне препятствия.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Музыка в этом смысле была труднодоступна для цензуры. Бессловесная, невизуальная, она обладала как бы недоказуемостью, ее труднее было уличить, поэтому ее побаивались. Симфоническая музыка требует культуры. Партийные функционеры не очень-то понимали, чем опасен Шостакович, но те, кто понимал, тех он искренне возмущал. Известна история с Апостоловым, работником ЦК, который готовил статьи, постановления о музыке. Он ненавидел Шостаковича, был его главным гонителем, он организовывал все проработки. И вот в 1968 году исполняют в Москве 14-ю симфонию Шостаковича. Перед началом Дмитрий Дмитриевич выходит на сцену, просит публику не аплодировать между частями. Исполнили Первую часть. Тихо. Вдруг из первых рядов поднимается маленький скрюченный человечек и выходит из зала. Это был Апостолов. Все обратили на это внимание. Исполнение продолжалось. Когда симфония окончилась, аплодисменты. Двери распахнулись, публика направилась к выходу, и все увидели: на полу, на площадке перед дверьми, лежит мертвый Апостолов. Я помню, как восприняли эту смерть. «Возмездие», – твердили все. Вот оно, возмездие, которое так редко бывает вовремя.

* * *

У тебя есть связи по горизонтали, а надо обзаводиться по вертикали.

Эта кочерга у нас из Зимнего дворца, дедушка принес.

Судьба человека – это невыполненное обещание, это упущенные возможности, это счастье, которое всегда почему-то позади.

Забытые запахи дров, запах сеновала, запах тола, запах чернил.

Надстраивали писательский дом у канала Грибоедова. Однажды стройка остановилась – кончились гвозди. Нигде их не было, нигде не могли достать. Литфонд откомандировал члена правления Стенича добиться гвоздей в отделе снабжения горисполкома. Приходит туда Стенич, сидит начальник, старый еврей. Гвоздей нет и неизвестно, повторяет он всем! Стенич дождался своей очереди, наклонился к нему и на ухо сказал: «А когда вы нашего Христа распяли, у вас гвозди были?»

И что вы думаете – получил.

О Стениче ходило много легенд. Он был остроумен и, конечно, погиб где-то в 1938 году.

А вот ужасные слова и словосочетания:

Более лучше

Где-то я согласен с вами

Видели о том, решили о том

Подскажите время

Как бы бесконечно

На себя одеть

Как кур во щи

Дубленка лучше всех

Напополам

Я извиняюсь

Фотка

Проплатить

я уже как бы пообедал

На сегодняшний день

я сказал кратко и лаконично

Позвольте поднять тост!

Волнительно

БРОНЗОВАЯ ЖИЗНЬ

На постамент думали, примеряли, а у меня валялся Кубелика бюст, я им предложил – поставили. Это был такой музыкант, на скрипке играл. Стоит Кубелик, ну, думаю, этот хоть раз навсегда, так нет, в 1968 году, Дубчек – хороший мужик, но первое, что сделала его команда, – приказала восстановить Массарика. Ладно, это мы умеем. Опять соорудили трибуну. Кубелика ночью перенесли на другое место, там, где Запотоцкому хотели ставить, вместо него Кубелика тихо, незаметно водрузили, а Массарика на прежнее место. Оркестр, цветы, речи. Однако я говорю ребятам, чтобы они не цементировали штыри, значит, намертво. Потому что потом мне приходится их пилить, это, я вам скажу, адская работа. А тут у меня как предчувствие было. Но они говорят: ты что, не веришь в наш строй, в наши обновления. И зацементировали, да еще как. Не прошло и полгода, как Дубчека сняли и следом за ним команда: Массарика тоже снять. Дубчека, это легко было – нагнали танков, его в самолет, в Москву и конец. А вы попробуйте пилить штыри. Ночью наконец выдернули, чуть голову не оторвали бедному президенту. Я его на прежнее место. Постамент, говорю, не занимайте, поставил туда вазу с цветами. Слушать не хотят. Ты на что надеешься, ты тайный сторонник Дубчека! Чуть меня в политику не замешали. И вот я уже на пенсии, вызвали меня: ставить надо Массарика обратно, где Массарик? Я на склад, вытащили его бедолагу, – и назад. А там Готвальд стоит. Готвальда сняли, хотели в лом железный, я говорю: пусть полегит на складе. Водрузили обратно Массарика.

* * *

С.-Петербург, 27. 10. 04

Уважаемый Даниил Александрович!

я не блокадница, не участница, не «жительница», я просто ветеран труда, уроженка Петербурга, отдавшая этому городу 44 года работы, все силы, знания, здоровье. Не буду отнимать Ваше время подробностями моей биографии. Коротко: родители-врачи, война, мобилизованы, дети эвакуированы с детским домом, найдены матерью в Свердловской области, после войны – полуголодное детство, коммуналка. При этом: школа с медалью, абонементы в Эрмитаж на нищенскую родительскую зарплату участкового врача, галерка в театре, хоры в филармонии, серьезный вуз. Затем: инженер высшей категории, 38 лет в приборостроении, трудовая книжка, полная благодарностей. Сейчас: старость, нездоровье и... монетизация, так сказать, заключительный аккорд. Целое поколение «кинули», как сейчас выражается не только шпана, но и представители власти. 9 поездок по городу в месяц, и угроза расстаться с телефоном, плату за который бесконечно повышают. Общение сводится на нет, нам предназначено гетто – изобретение фашизма применяется демократической властью весьма успешно, только у них гетто служило для других народов, а у нас – для своего.

Месяц назад моя подруга уехала в Германию, хочет дожить прилично, по ее словам. Сказала: «Хуже, чем здесь, не будет никогда». Спасаться от благодеяний демократической власти она ринулась в страну, которую с боями прошел ее отец-генерал.

Может быть, и Зубру не стоило возвращаться?

Суровых Кира Яковлевна

1937 г. рожд., петербурженка

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

Такое вот письмо я получил. Оно мало чем выделялось среди читательской почты. Разве что грамотностью. Тон был сдержанный, как и у прочих. Письмо в заключение, как итог, после безуспешных ходатайств, когда погасли последние надежды.

Отвечать на такие письма я не умею. Утешать нечем, все доводы – фальшивы. При такой старости жизнь кажется проигранной. И в самом деле, если она, инженер, за всю свою трудовую высококвалифицированную работу осталась необеспеченной настолько, что считает копейки за проезд в автобусе и электричке...

Так и не ответил. Прошло два года. Пенсии повысили. Письмо это плюс еще несколько похожих не давали покоя. Написал – ответа нет, попробовал узнать, где адресат, где она, Кира Яковлевна Суровых? Неизвестно. Может, уехала в Германию, вслед за подругой?

Финал жизни для человека определяет прожитое. Это почти как последний акт пьесы. У старости мало что остается для счастья, но все же надо избавить ее от унижения, должна присутствовать в ней хоть какая-то доля благодарности от своей страны, от окружающих.

ГОЛУБОЙ

Семья Саши Петракова сняла дачу у одного кролиководы. Не так-то просто стало найти дачу на лето под Петербургом. У дачников был фокстерьер, поэтому им долго пришлось договариваться, хозяин боялся за своих кроликов, особенно там у него был один кролик породистый, голубоватый, дорогой и редкий.

Однажды хозяин уехал в город, к Петраковым пришли гости. Веранда, чай, водочка, полный кайф. Вдруг вбегает фокс и тащит в зубах мертвого кролика, растерзанного, измазанного в земле, и победно кладет перед публикой. Тот самый, голубой. Все в ужасе. Орут на пса, обзывают его, лупят, неужели он не понимает, что хозяин вернется и сгонит их с дачи? Что делать? Решают попытаться – берут этот труп, чистят, моют его с шампунем, сушат феном, приводят в порядок, кладут в вольер. Будто сам издох. Поди докажи. Вечером приезжает хозяин. Все замерло. Вдруг крик, шум, хозяин является, держит кролика за задние лапы, глаза вытаращены. Рассказывает, что кролик позавчера окочился, пришлось закопать беднягу, теперь он нашел его в вольере, чистенького, того самого!

ПРО ЗУБРА

Спустя двадцать лет в своем беспорядочном архиве я обнаружил запись, сделанную моей покойной женой. В сущности, это предыстория написания повести «Зубр». В свое время (1987–1989 гг.) она вызвала живой интерес читателей и острую полемику, а то и разносную критику в печати.

Запись моей жены показалась мне важной в смысле характерных для того времени обстоятельств литературной работы, а кроме того, она, автор, рассказывает драгоценные подробности о самом Тимофееве-Ресовском и обстоятельствах его удивительной жизни.

«Задумав писать о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском, Даниил Александрович очутился перед тяжелой задачей сбора материалов о нем и, главное, зная его судьбу, изложить ее так, чтобы и волки были сыты и овцы целы, а главное, не была бы нарушена правда истории.

Мы были знакомы и, я даже смею сказать, дружили с Еленой Александровной и Николаем Владимировичем с середины 1960-х годов, когда он впервые, свободный, приехал в Ленинградский университет с чтением лекций. Однажды он выступал в Доме писателя, я не была на этом выступлении, а была дома, и вдруг приходит часов в 11 вечера Даниил Александрович с толпой людей (это было зимой), шубы, шапки, шум. Стол... и наконец тишина. „Я имени его не знала“, – слышу громовой, рокочущий голос, перекрывший всех, и рассказ необыкновенной силы и странности. Видеть перед собой этих людей из судьбы, которую, кажется, и перенести нельзя. А уж быть таким жизнерадостным, властным, сильным, в это и поверить нельзя... На предложение о салате Николай Владимирович отвечал: „Этот силос я не ем“, а чай, черный и холодный, заваривал сам.

Мы полюбили их. Мы были сравнительно молодые, а такие уникалы попадались впервые. Они были естественные люди – без наигранности и фальши.

С тех пор они часто приезжали в Ленинград и каждый раз бывали у нас, а мы бывали

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru у Анны Бенедиктовны Гецовой, где всегда жили Елена Александровна и Николай Владимирович. Там всегда были широкие приемы биологов, и было очень интересно наблюдать, как Николай Владимирович немедленно становился центром и по рассказам, и по проблемам. Нашей дочке, которая тогда была студенткой 1-го курса биофака ЛГУ, он говорил: „Это все ерунда, ваша биофизика и биохимия. Надо быть общим зоологом, или мокрым...“ Все хохотали, в те годы физики, биофизика только начиналась. Волкенштейн был еще в Ленинграде и хвастливо распространялся о своих работах. Только потом, через 20 лет, стало ясно, как был прав Николай Владимирович, когда природа со всех сторон стала гибнуть.

Был однажды в Ленинграде симпозиум биологов. Приехало много ученых из других городов и даже стран – из ГДР Ганс Штрубе, из Швеции Густафсон, многие из Новосибирска, Беляев, у нас было большое сборище – из писателей были Данин с Софьей Дмитриевной. В это время модный спор „физики и лирики“ занимал все площадки.

Один раз Тимофеевы приехали, и Николай Владимирович заболел воспалением легких. Пришлось лечь в больницу. Мы все по очереди ходили ему читать, так как Елена Александровна очень уставала. А ведь Николай Владимирович ничего не видел, и читать сам не мог со времени лагеря, и все его научные работы, и статьи, и литературу читала Елена Александровна.

В конце 1968 года мы – я, Даниил Александрович и дочь Марина – поехали в Обнинск встречать Новый, 1969 год. Там мы отмечали 50-летие Даниила Александровича. Мы поместились в гостинице, кстати, недалеко от тимофеевской Солнечной улицы.

Вечером к ним пришла масса народу, все его ученики – Владимир Ильич Иванов, Жорес Медведев, Коля Глотов, Женя Рейсер, Кашкин и много других, кого я уже не помню. Все с женами и пирогами. Было очень весело, Николай Владимирович возбужден, заводил пластинки с хоровым пением и каждый раз рассказывал все новые истории.

Наутро мы снова пришли к ним. Елена Александровна показывала мне кимберовскую медаль, и золотую и бронзовую. Потом фотографии – молодые и разные. Она была удивительной красавицей, тонкой, хрупкой, хотя и довольно высокой.

Жили они в Обнинске скромно. Маленькая квартира, и никаких лишних вещей.

В 1970 году наша дочка вышла замуж и в виде свадебного путешествия поехала в командировку в Обнинск и в Москву. В Обнинске гостиница была занята спортсменами, и им некуда было идти, и они жили в квартире Тимофеевых, которые в это время куда-то уехали, а научный сотрудник Кашкин дал ключ.

Когда они приезжали в Ленинград, мы зазывали к нам наших друзей, чтобы познакомить их с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной.

Елена Александровна любила театр и концерты, а Николай Владимирович был счастлив, если мог не пойти. Все годы они вдвоем ездили на пароходе по рекам России, и по Сибири, и по Волге, и по Северу. Всегда заезжали в Ленинград, и опять мы встречались, и Николай Владимирович с болью говорил о реках, затянутых рясой, и о мертвой рыбе.

Даниил Александрович несколько раз записывал Николая Владимировича на пленку, его рассказы, начиная с ранних лет. Но все же Даниил Александрович тогда полностью не понимал, с каким редким человеком свела его судьба. Только последние годы он стал записывать подряд все, что Николай Владимирович говорил.

Когда мы приехали из Обнинска, то с Даниилом Александровичем случилась неприятность – он сломал ногу и лежал в больнице в Сестрорецке. Я каждый день ездила к нему, и он диктовал мне все, что запомнил из той недели в Обнинске, что мы были у них.

В 1974 году мы получили печальную телеграмму о кончине Елены Александровны. Это было на Пасху. 1-й день Пасхи у них обедали все друзья. Когда все разошлись и посуда была вымыта, Елена Владимировна сказала: „Колюша, что-то я плохо себя чувствую“. Он сказал: „Наверно, объелась“. Но через некоторое время он тоже почувствовал серьезность и вызвал „скорую“, но было поздно.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Мы получили телеграмму, в такой-то день и час скончалась Елена Александровна Тимофеева-Ресовская.

Я не думала, что Николай Владимирович проживет без Елены Александровны еще 10 лет.

Владимир Ильич Иванов трогательно-внимательно относился к Николаю Владимировичу. Через некоторое время Николай Владимирович стал работать в Москве у Газенко, ездил в Москву редко, и когда некоторые сотрудники заявляли, что почему не ходит, то Газенко отвечал: „Я вас пятерых уволю за него одного“.

Из Обнинска уезжать не хотел: здесь могила и родные детству земли – „калуцкие“, как он говорил. В летний отпуск он по-прежнему ездил на пароходе с Владимиром Ильичом и заезжал в Ленинград. Мы тогда опять, как и прежде, приходили к Анне Бенедиктовне, и он, немного подрыхлевший, но все такой же могучий, рассказывал, что видели в поездке, и все больше звучала его боль об испорченной воде. Николай Владимирович рассказывал, как он болел и лежал в больнице в Обнинске. Палата была отдельная, лечебную физкультуру он считал „ерундистикой“, но потом уступил врачихе, которая ему была симпатична, и начал понемножку поправляться и ходить, и крайне сам был этому удивлен.

В 1983 году Николай Владимирович умер – не знаю, почему мы не поехали на похороны. Теперь жалею. А Даниил Александрович вообще боится и избегает похорон. Сейчас, наверное, тоже жалеет, я не спрашивала.

Даниил Александрович поехал в Москву и сидел неделю в Пущине у Шноля, прослушивая и переписывая пленки.

После этого он засел за работу. Сложность личности и биографии Тимофеева-Ресовского не давала уверенности, что может получиться стройное, доступное для нашей печати произведение. Но время не ждало. Пока были живы люди из окружения Николая Владимировича и на Урале, и в Москве, и даже в Берлине. Надо было торопиться. Даниил Александрович уже был весь в этом. В доме все время гремел голос Николая Владимировича (это было так странно. Я в кухне вздрагивала и бежала в кабинет). А Даниил Александрович все слушал его голос, его рассказы. Довольно тяжелый был этап сбора материалов от бывших друзей и коллег Николая Владимировича. Даниил Александрович часто бывал в Москве, виделся с семьей Реформатских (подруга Елены Александровны и ее дети также горячо болели за эту работу Даниила Александровича). Семья Николая Николаевича Воронцова, его жена Ляля (дочь известного математика и друга Николая Владимировича Ляпунова). Это всё биологи, бывавшие у Николая Владимировича в Миассове и дружившие с ним и Еленой Александровной, Владимир Ильич Иванов с женой Таней, жившие с ними в Обнинске, и были им близки, как родные дети.

Кроме того, много ученых, соприкасавшихся с Николаем Владимировичем по науке. С ними Даниил Александрович виделся и записывал их на пленки. Валерий Иванов (ныне доктор биологических наук, а в то время студент) бывал много лет летом у Николая Владимировича в Миассове на Урале. Он приезжал к нам в Комарово на дачу специально, и Даниил Александрович также записал его воспоминания о Николае Владимировиче.

Анна Бенедиктовна Гецова, добрый гений их ленинградского пребывания, много помогала Даниилу Александровичу и знакомила его со многими биологами, знавшими Николая Владимировича.

Этот период как бы освещался хорошо еще и личным нашим знакомством.

Но были в рассказах Николая Владимировича и Елены Александровны еще и люди, с которыми они жили в Германии и которые были очень важны для освещения той самой тяжелой поры их жизни – работы в Кайзер-вильгельм институте. Это были Игорь Борисович Паншин – биолог, проживающий в Норильске, человек, которому Николай Владимирович помог спастись в Берлине в самые тяжелые годы гитлеризма. Его письма – это душераздирающий роман, который я не буду повторять (они есть).

Кроме того, муж и жена Варшавские, биологи, угнанные из Ростова-на-Дону, также были спасены Николаем Владимировичем (их письма тоже есть). Я свидетель того, как остро, резко и горячо Даниил Александрович разговаривал и с тем, и с другим, доказывая необходимость и просто их святую обязанность написать об этом, ради

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru памяти о Николае Владимировиче. Я не знаю, откуда брались слова у Даниила Александровича, когда тысячекилометровые расстояния от Норильска не мешали ему настойчиво требовать их писем или приезда. „Это дело чести каждого, кто хоть как-то был причастен к этой великой жизни“.

Варшавский, переживший плен, угон к немцам и спасенье чудом, не хотел вспоминать всего этого, весь в страхе, устроившийся после войны в Саратове с женой, боялся всего и, где-то тайно боявшийся Гранина, который, может быть, выставит Тимофеева плохим, и все же дрогнул и тоже написал свои письма. Но этих звонков было много, они обещали, но не сдерживали слова, и снова звонки, снова обещания. Единственный, кто сразу ответил и прислал много милейших писем, был художник Олег Цингер из Парижа. Он тогда был молод, и помнил все хорошо, и был с Николаем Владимировичем до окончания войны, а затем уехал на Запад. Цингер прислал очаровательные, художественно оформленные письма.

Потом был мучительный период самого писания вещи, нехватка материала.

Я писала по-немецки в Центральный архив ГДР с запросом о сыне Николая Владимировича Фоме (Дмитрии), они ответили, но переадресовали в Вену, а Вена – в Париж. Где архив Маутхаузена.

Очень интересны розыски в Германии одного русского биолога и физика Ромпе, но это Даниил Александрович подробно описывает в книге.

Трудности большие, которые в общем-то не удалось преодолеть, это жизнь Николая Владимировича в лагере. Он сидел вместе с Солженицыным. И после войны встречались, пока Солженицын жил где-то в Калуге. В лагере была непосильная работа, и общество священников, которое окружало Николая Владимировича, и воров, которые любили его слушать. Но самое страшное для его могучего тела был голод, и от голода он заболел пилагрой, и уже доходил, когда его разыскали по указу Завенягина и Курчатова. Везли сначала на санях (дело было зимой), потом в спальном вагоне. Охраняли охранники, купе отдельное. Кормили. Он думал, что умер. Привезли в Москву, это он не помнит, смешно рассказывал про медицинский персонал этой привилегированной больницы, как они боялись, чтобы он не умер. Начальник даже спал рядом в комнате.

Когда стал ходить понемногу, то повезли в магазин и одели по первому классу. И только тогда отвезли на Урал, так сказать, на объект. Куда и приехали к нему его немцы.

Среди сотрудников Николая Владимировича был Лучник Николай Викторович. Ныне живущий в Обнинске и явно не желавший встретиться с Даниилом Александровичем. Даниил Александрович предлагал ему, что может приехать в Обнинск, но без него сведения будут не полны. В конце концов в декабре 1985 года, во время съезда писателей РСФСР, Даниил Александрович звонил Лучнику домой, и он согласился приехать к нам в гостиницу. Многие, кто называл Лучника, всегда говорили, что он был с Николаем Владимировичем во враждебных отношениях. Хотя Николай Владимирович считал его способным человеком. Он стал доктором наук. Остался постоянно в Обнинском институте. Приехав, он прежде всего попросил Даниила Александровича, чтобы его имя не называлось в книге. Даниил Александрович это ему обещал. Была сделана запись на пленку.

Когда Даниил Александрович закончил повесть и отдал ее в журнал „Новый мир“, ее читала редколлегия, и было назначено печатанье в номерах № 1 и № 2 за 1987 год.

Звонили и поздравляли прочитавшие рукопись доктор Блюменфельд, член-кор Волкенштейн, Анна Бенедиктовна. Но однажды позвонила редактор Лера Озерова и сказала, что пришли двое молодых в редакцию и заявили, что стало известно, что в повести Гранина „Зубр“ оболгали и унизили известного ученого Лучника. В этот же день звонили Залыгину (главному редактору „Нового мира“) из горкома партии города Обнинска и говорили о том же. Мало того, все перешло за рамки Лучника и они целиком перешли на личность Николая Владимировича. Эта женщина из Обнинска звонила в ЦК. Зачем это было делать? Человек уже в словарях и энциклопедиях. Но сын Лучника на это мне сказал: „Папа тут ни при чем!“ Эти двое были сыновья Лучника – один Андрей, биолог, даже доктор наук. Они требовали, чтобы им дали читать повесть Гранина. Их направили к автору.

Залыгин сказал, что разберется, но читать рукопись не даст.

Даниил Александрович позвонил Воронцову, и тот, крайне удивясь, сказал, что Георгиев тесть Андрея Лучника. Тут уж полный отпад. Уважающие себя и уважаемые всеми люди идут на такие ложные шаги. Георгиев – известный в биологической среде ученый – идет со своим зятем будто бы от имени института к главному редактору журнала, что Гранин оклеветал такого известного ученого. Что же он думал, что никто не узнает про их родственные отношения. Кроме того, звонки в ЦК, и из ЦК звонили Залыгину. Он ответил, что они разбираются. В ЦК сказали – смотрите сами!

Будучи в Ленинграде, Андрей Лучник был у профессора Николая Васильевича Глотова, бывшего своего учителя по Московскому университету, и просил его позвонить Гранину. Коля Глотов, которого мы знали еще в Обнинске как ученика Тимофеева-Ресовского, теперь профессор генетики Ленинградского университета, позвонил нам и говорил, что Андрей Лучник – способный биолог и он знал отца. Даниил Александрович пригласил Глотова к нам. Он пришел в субботу. Оказывается, Лучник не сказал Глотову, что был с Георгиевым в редколлегии журнала, и будто бы он знает, что у Даниила Александровича в повести, что Гранин обещал не называть его, а в действительности оклеветал.

Забавно, что Коля рассказал, что в давние времена работы на объекте Николай Владимирович тоже приволокнулся за девушкой, за которой ухаживал Николай Викторович Лучник. И будто бы у них была вражда из-за этого. Николай Владимирович, конечно, по словам Коли, никогда бы не оставил Елену Александровну, быстро остыл к этой девице, и Лучник женился на ней, но никогда этого не забывал. А Николай Владимирович в этом смысле был забывчив и не злопамятен. Он с такой же легкостью раздавал идеи, вместе писал, диктовал и... ухаживал. Это подтвердил и приехавший 23 декабря Н. Воронцов, который был у нас. Он был обеспокоен за выход второго номера журнала. Так как, когда выйдет 1-й номер, который явно определит своего героя, и все живые лысенковцы, такие, как Глуценко, поднимут голову и начнут выть: „кого вы подымаете – фашиста“ и т. д.

Интересно рассказали, что на днях были выборы в Академ. медиц. наук и баллотировался Лучник Николай Викторович. Выступил академик Сбарский и сказал все слова за и среди всех похвал особо подчеркнул, что Лучник был учеником знаменитого нашего ученого Тимофеева-Ресовского. Но все же он не прошел. Получил 5 голосов за из 60.

1987 год. 5/ I – звонил Н. Н. Воронцов с радостной вестью, что получил № 1 „Нового мира“.

5/I – звонил Владимир Ильич Иванов и сказал, что приходила Сакурова (которая живет в Обнинске) и рассказала, что Лучник там поднимает шум, что с ним не здороваются Волкенштейн. Что все это из-за Гранина.

9/I – пришла домой из магазина – новости. Звонили из „Нового мира“, что цензура запретила печатанье второго номера, т. е. продолжения. Оказывается, дело в том, что в комитете по атомной энергетике есть запрещение на печатанье в прессе о том, что немцы работали у нас на спецобъектах. И хотя эти немцы потом уехали на Запад и все об этом знают, то все равно в печати они все вычеркивают. Опять волнение. Требуют вычеркнуть большие важные куски.

9/I, 16:30 – разговор с цензором Солодиным: уверяет, что все сделали в лучшем виде. Теперь мы не знаем даже, что получилось. Кошмар!

„Есть воспоминания Рила и Циммера, напечатаны в Западной Германии, ведь я это читал“ (из разговора по телефону с Залыгиным). Все понимают, что это чепуха, и никто не может изменить инструкцию».

* * *

Природа в своей мастерской творит красоту. Достижения ее зрими, начиная от бабочек с их узорами безукоризненного вкуса, назначение этих хрупких порхающих картинок не поддается объяснению. Что означают росписи их крыльев, зачем они? Но уместен ли вообще такой вопрос. Оперение птиц, хвост павлина, раскраска жирафа, зебры, рыб – серебристые, золотые, пурпурные, страшные морды, смешные и милые, плывущие среди коралловых поселений с их фантастической архитектурой. А как роскошны бронзовые, аспидные, изумрудные панцири жуков, весь этот ползающий, плывущий, летающий мир, созданный живописцем Природой. Она прежде всего художник. Еще не было человека, то есть зрителя, а она уже расписывала неведомые

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
нам картины, творила формы, ваяла фигуры растений, диких животных, создавала музыку, запахи – удовлетворяла потребность своего творчества. Через миллионы лет она передала изготовленную, отшлифованную потребность творить красоту человеку. Женщины еще ходили в шкурах, но уже украшенные бусами, появились рисунки на стенах пещер, люди расписывали свое тело. Это отделяло человека от обезьяны.

Теории Дарвина и его последователей сделали мир объяснимым, но прямолинейным, упорядоченным. Слишком похожим на человеческое общество, лишенным тайны, красоты, кажется, что Дарвин не очень в ней нуждался для своих построений.

Гений Дарвина обеспечил развитие биологии на 70–80 лет, дальше он все невнятнее отвечал на новые вопросы. И о том, какое место в эволюции занимает красота, зачем она. Можно подумать, что выживает красивое, гармоничное, но разве красота помогает в борьбе за существование? Грация лебедей или фламинго – какая с нее прибыль?

Но эти вопросы не для художника, может, вообще нерешаемы, как нерешаема загадка жизни.

Есть явно «выставочные» произведения – цветы, колибри, попугаи, стрекозы и т. п. Природа, однако, распространяет свой творческий дар и на семена. Они все хороши собою – желуди, пропеллер клена, сережки тополя. Вглядитесь в скромное семечко подсолнуха, черно-белую его оболочку, грецкий орех, каков он внутри с его двумя полушариями.

На выставке немецкой художницы Сюзанны Бауман я видел «Собрание семян». 60 штук составили впечатляющую картину выдумок Природы. Рядом висела картина «Гербарий гуляющего» – засушенные воспоминания о летних прогулках – травы, цветы. Дальше – галерея «Пестики цветов». Среди разных пестиков еще внутренности стебля – круги жизни, узоры расходящихся линий. Картины, они, оказывается, пронизывают насквозь все создания богини Флоры. Лист каждого дерева – это отдельное произведение. Фантазия природы неистощима, ее изобретательности нет конца. Очертания насекомых, их силуэты поражают воображение больше, чем сюрреализм Дали, Кирико, Танги. Чего стоят раскраска и формы раковин, как они раскрашены внутри, словно для наслаждения их жильцов. Когда бабочке случается походить на лист, она передает все детали его строения, расщедрясь, воспроизводит дырочки, проеденные жучком, которого знать не знает. Такая степень защитных уловок вызвана уже не «борьбой за существование», а скорее усмешкой над учеными-дарвинистами.

Владимир Набоков подошел к энтомологии как поэт и бросил вызов ученым-дарвинистам с их обязательной целесообразностью, борьбой за существование и т. п.

История красоты начинается задолго до человека. Может быть, это начинается с появления Вселенной, нашего неба с его созвездиями, движением светил. Вначале было не Слово, а Красота, рожденная фантазией Творца.

В одном из словацких музеев я любовался бусами, найденными в слоях палеолита. Женщины ходили в шкурах и уже носили бусы. Людям самым древним, каменного века, нужна была красота. Резьба по слоновой кости выставлена там же с табличкой «22 век до н. э.». Брошки «12 век до н. э.».

Свиридов как-то сказал о музыке Гаврилина, что ему непонятно, откуда она берется. Эта область музыки Свиридову была неведома. То же самое еще в большей мере можно сказать о Шостаковиче. Никто из композиторов не представлял, откуда она, где могут быть ее источники. Это такая же неведомая область жизни, как жизнь привидений или небесных черных дыр. То же самое в фауне – откуда бабочки берут свои узоры, кто сочиняет эти прекрасные рисунки?

Можно сочинить мелодию, хороших песенников много, но сочинить симфонию, то есть музыкальный роман, повесть, – это нечто совсем иное, да и романы разные. Симфонии Шостаковича – это великие трагедии, шекспировской силы, да еще всегда личностные. Откровенность его, обнаженность чувств и признаний пугает. Написать автобиографию столь беспощадно-бесстрашную никто на бумаге не смог. Жан-Жак Руссо вставал в позу, когда писал свою «Исповедь». Толстой по мере удаления от детства к юности о многом начинал умалчивать.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Язык музыки понятен, но не дает себя уличить: это «я»? или «он»? или «мы»? у таких, как Шостакович, музыка производится совсем из другого материала, чем у прочих, это как лунный камень или звездный свет. Примерно то же наблюдал я и у физиков. Володя Грибов, Лев Ландау, Петр Капица – все это были люди, неведомо откуда бравшие свои догадки, они опережали собственное мышление. Рассказываешь такому про свое исследование, а он, не дослушав, говорит, что у тебя должно получиться. Раз угадает, два угадает, а потом начинаешь ему верить и понимаешь, что у него особый дар, он действует без доказательных выводов. Иногда это похоже на гадание. Он не спорит, ответ ему виден, он уже различает его до того, как кончен расчет, откуда ему становится известно, что должно получиться, непонятно. Сперва ему не верят, потом считают его догадку случайностью, потом начинают убеждаться, что имеют дело с гением.

– С чего вы это взяли?

– А мне так кажется.

– Но при таких температурах не может получиться.

– Не может, – соглашается он, – но вот увидите, что получится.

– А за счет чего?

– А черт его знает, – говорит он, – именно тут должна быть точка поворота.

И он вовсе не заботится, что это выглядит абсурдно, никакие абсурды его не смущают.

Точно не помню, кажется, в Берлине мне прочитали стихотворение, где была такая строфа:

Земля умирает,
Вода умирает,
Воздух умирает,
Лес умирает,
Звери умирают.
Ура! Мы живем!

... У него дочь в партии «зеленых». Она вешает скворечники. И мастерит их. Ненавидит автомобили, ездит на велосипеде. Считает животных и умнее, и благороднее людей.

Мы плыли с ними по Волге, шлюзовались, пристани маленьких городов. Боже, какое грустное зрелище, Волга – умирающая река. Пустынная. Местами цветет ядовитой зеленью. Кое-где торчат затопленные верхушки колоколен. Изредка где-то на берегу полыхнет костерок. Гидростанции обессилили великую реку. Бревна, как трупы, плывут мимо лесов. Баржи, пароходы – редкость.

СТАРАЯ АКАЦИЯ

Мой друг Карло Каладзе, грузинский поэт, признался мне:

– Идет машина, а я весь напрягаюсь, боюсь, что она идет на сына, лестница – она построена так, чтобы он упал. Как защитить его? Каждая женщина хочет соблазнить, увести его. Он уже взрослый, а мне все равно хочется заслонить его.

Он сам высмеивал свои страхи и ничего не мог поделать с собой. Мы разговаривали в ресторане гостиницы. Я приехал в Тбилиси укрыться от проработок за повесть «Наш комбат». В Ленинграде меня то и дело вызывали то на партбюро, то в обком, вспоминать не хочется. Позвонил мне из Тбилиси поэт Иосиф Нонешвили, пригласил в гости.

Окна моего номера выходили на проспект Руставели. Под окном росла старая акация. Рано утром в одно и то же время дерево начинало петь, и я просыпался. Все ветви были унизаны бурными комочками, похожими на осенние листья. Это были воробьи. Дерево закрывало все окно. В безветренном воздухе хор птичьих голосов то сплетался из переливчатых трелей в единую песню, то распадался на отдельные партии, слышны были солисты. Певцы раскачивались на ветках. Утренний этот концерт я выслушивал от начала до конца. Исполнив приветствие, птицы разом

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
улетали, дерево оголялось, умолкало.

С этого приветствия начинался день. Зима была не свойственна этому городу. Кусты самшита стояли зеленые. Снег выглядел неудачной декорацией. Словно неряшливые куски ваты валялись где-то в скверах.

Чернеющие горы, на них снег был уместен, он украшал горы рельефными складками.

На базар тянулись ишачки, шли женщины в больших клетчатых платках.

Время здесь было другое, поглощенное вдумчивым интересом к окружающей жизни, чем-то его течение напоминало мне время в Старой Руссе, Боровичах, старых русских городках.

Меня окружили неутомимой заботливостью. И Нонешвили, и Каладзе, и Бесо Жтенти – белобрысый грузин, литератор. Каждый день к кому-то в гости. Было ощущение незаслуженного внимания, кто я, в конце концов, один из питерских прозаиков, только одна книга в то время переведена на грузинский, за что мне такое гостеприимство. Иосиф напомнил мне Лермонтова:

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Напомнил и Пушкина, и Пастернака, и Заболоцкого – сколько их находило в Грузии отраду и укрытие.

Если я отказывался, хозяева искренне огорчались. Я учился отличать аджарское хачапури от обычного, разбираться в местных винах. Смена блюд, цоцхали – сизые рыбки, их надо есть отдельно, не смешивая с лобио. Учился употреблять всевозможные соусы, травы, огромные редиски, наслаждался искусством тамады.

Люди здесь были красивы, обычаи их тоже. Мы заходили в духан. Там сидела молодежь. Были свободные столики, но все молодые люди вставали, уступая нам места. Таков был ритуал уважения к старшим. Как-то, собираясь в гости, я хотел купить хозяйке букет. Иосиф шепнул: «Не надо». – «Почему?» – «Цветы хозяев ко многому обяжут».

Каждый знал здесь своих любимых поэтов, артистов, художников. Меня пригласили в мастерскую Ладо Гудиашвили. Там были ни на кого не похожие работы. Сам художник рассказал мне о своей жизни за рубежом и о дороге домой.

Тосты за родителей, за удачную дорогу, за детей, за тамаду, постепенно я вникал в искусство вести застолье – нелегкое, мудрое, веселое.

Иногда мне казалось, что здесь соблюдают абстрактные законы гостеприимства, подчиняются обычаям, а не велению души, но всякий раз убеждался, что был неправ. Никто не заставлял их выкладываться. Им не хватало русских слов, они переходили на родной язык, забывали обо мне. Я вслушивался в разговор, что-то понимал, например, они обсуждали, какое вино гостю лучше подходит. Или книгу стихов Паоло Яшвили.

Иногда они пели. Это было красиво. На разные голоса, сразу складывался хор.

Я слушал, и меня охватывала тоска: смогу ли я как-то отплатить им, такой же красотой застолья, таким же гостеприимством, с этой древней культурой радушия?

По пути из Тбилиси, в самолете, мой сосед, москвич, крепко поддатый, плечистый здоровяк с рыжими усиками, внушал мне, что в основе действий каждого человека лежит корысть. Она разная, явная, скрытая, но обязательно есть, если углядишь, тогда все просто будет – ты мне, я тебе, и не просчитаешься, жизнь становится простой, даже легкой. Учти (он вдруг перешел на «ты»), в чистой воде рыба не водится.

Под конец выяснилось, что он специалист по садам и паркам, профессия, казалось бы, удаленная от корысти. Он вез для Петергофа луковицы каких-то грузинских цветов, подаренных мингрелами.

Доктор Сушкевич вправлял диски позвоночника. Сотни больных и в его маленьком городке, и из области приезжают, живут там неделями, дожидаясь своей очереди. Прием производил ночью, потому что днем он работал. В Минздраве все были против него. Специалисты утверждали: ночью он принимает нарочно, для тайны, деньги берет большие (иначе зачем бы старался?), приносит временное облегчение, а значит, вред, ибо вместо лечения больной тратит время на это знахарство. На самом деле он лечил бесплатно. Его замучили комиссии проверкой. Тридцать комиссий за год! В конце концов он прекратил прием. Устал. Довели до инфаркта. Многих привозили к нему на коляске, а они пошли и ходят. К одному такому колясочнику, юристу, он обратился за помощью. Тот отказался его защитить, побоялся. Люди настаивали, скандалили. Сын шепотом ссылаясь на заместителя министра здравоохранения. В конце концов один из больных явился в Министерство здравоохранения и избил этого зама. Было разбирательство, зама сняли. Но Сушкевич к практике не вернулся.

Лидия Гинзбург как-то заметила, что каждое страдание сопровождается непредставимостью его конца. Потому что представить себе конец страдания – значит избавиться от страдания. О счастье мы, напротив того, знаем, что оно пройдет, в каждой радости затаился страх конца.

Эккерман ходил за Гете и записывал его высказывания, получилась замечательная книга. Гете об этом знал и помогал ему, думая вслух. К тому же Эккерман его понуждал своими расспросами, приходилось отвечать, находить свою точку зрения. Эккерман не только записывал, он извлекал мысли из него. Гете творил для него. Ходит за тобой не охранник, а секретарь с записной книжкой, приходится что-то произносить. Думаю, что если бы было побольше Эккерманов, то больше было бы и Гете. Конечно, Гете велик, Гете гений, но, допустим, нашелся бы у нас такой самоотверженный человек и стал бы ходить за Виктором Борисовичем Шкловским, или за Эрдманом, или за Ильфом, за Бахтиным, да мало ли. Многого можно было бы записать. Причем это не упущенные высказывания, это мысли, которые появились бы на свет на интерес, на ожидание.

Литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум умер во время вечера Мариенгофа в Доме писателя в Ленинграде. Сошел с трибуны, сел в первый ряд, тихо склонился набок. Сразу и не заметили, что случилось. Был инфаркт. Замечательно он жил, замечательно и умер.

Как ни странно, зачастую именно гиганты научной мысли, которые сумели одолеть установившиеся взгляды, убежденно отказывались от власти авторитетов, вели науку к новым высотам, сами спустя годы становились научными консерваторами, упорно не принимали еретических взглядов своих преемников. Галилео Галилей отвергал созданную Кеплером теорию эллиптических планетных орбит, называл ее фантазией. Томас Юнг оспаривал теорию, которую разработал Френель. Эрнст Мах возражал против теории относительности. Резерфорд считал, что ядерная энергетика практически неприменима. Эдисон не признавал значение переменного тока. Линдварг смотрел на ракетную технику как на безнадежное дело.

Знать, что недоступное нам на самом деле существует, то, что нам кажется невероятным, возможно, что мои личные способности могут быть не способны воспринимать новое, – это необходимое и очень трудное качество в науке.

Мы люди свободные, что нам скажут – то мы и захотим.

РЕЗОЛЮЦИИ

К Петру I обратилась с жалобой одна молодая женщина на мужчин: не хотят жениться на ней, поскольку она не девица. И так она была убедительна в своем негодовании, что он велел выдать ей бумагу, где объявлял ее девицей, и скрепил своей подписью.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Для Д. С. Лихачева Петр был человек нервный, мистический, рвущийся.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Лихачев считал, что в России не было Ренессанса, сразу началось барокко. Оно пришло с Украины. Как архитектурный стиль. Вместе с ним церковные руководители. При Петре они все были с Украины. Барокко означало интернационализм.

Аввакум был за национализм, за узкорусскую Церковь, за русский язык, в этом смысле он был шовинист – против расширения русской Церкви, которая в то время включала в себя украинскую и белорусскую Церкви.

Царь Алексей Михайлович вовсе не был тишайшим, он разгромил разинщину. При нем началась немецкая слобода, и курс на просвещение, и то, что монарх – это труженик.

Петр не есть счастливый случай, я убежден – появление его можно считать логичным, петровское как бы появилось до Петра. Но что в нем удивительно, таинственно – это его способность переходить из одного состояния в другое. Это переходы от человека к монарху и обратно. Замечательно то, как подчиненные улавливали и приспосабливались к этим переходам. Он и за границей продолжал так себя вести: то плотник, то царь, то матрос.

Петр Великий был великим мечтателем. Каким-то образом в мальчишеской его голове зародилась мечта о плавании на корабле. Она росла по мере того, как он поплыл по озеру на шлюпке, с парусом против ветра! А когда увидел море, попал в бурю, то мечта его населялась кораблями, большими и мелкими. Она образовала флот, он хотел, чтобы мечта эта охватила страну, эту пешеходную Россию. Оснастить ее парусами и отправить в море. Воображение, оно не рисовало, оно немедленно воплощалось на верфях, мечта генерировала в нем яростную энергию. Он видел Россию морской державой. Это была его собственная, не ведомая еще никому страна, обставленная только ему известными подробностями, ежедневно пополняемая, исправляемая. Порты, верфи, каналы. Мечта была грандиозной, но еще грандиозней то, что стало, он принялся ее осуществлять, во всем размахе российских морей, от Севера до Балтики, от Балтики до Каспия.

ИЗ ЖИЗНИ ПОВЕШЕННЫХ

Жена не дала мужу на водку. Категорически и раз навсегда. Он скандалил, скандалил, умолял, он пил в долг, теперь ему надо поставить, это вопрос чести, иначе ему остается только покончить с собой, он повесится!

– Да ради бога! – сказала жена и ушла из дому, заявив, что не хочет мешать ему.

Он взял веревку, соорудил петлю, не затяжную, встал в ванной на табурет, ждет, дверь на лестницу оставил открытой, чтобы жена, значит, всполошилась, когда вернется. Висит. В это время приходит давным-давно вызванный водопроводчик. Входит в ванную, видит покойника, шарахнулся, выбежал. Постоял на лестнице, подумал, вернулся, стал снимать с покойника часы.

Тот дал ему ногой в челюсть. Водопроводчик побежал и грохнулся в передней с инфарктом. Когда вскорости вернулась жена, она нашла лежащего водопроводчика, который безудержно стонал, поэтому висящий в ванной муж не произвел на нее нужного эффекта, тем более что он был совершенно живым.

РЕЧЬ НА СВОЕМ ЮБИЛЕЕ

Когда я сидел на чужих юбилеях, я ждал, что скажут сами юбиляры, это было самое интересное, потому что я надеялся узнать, как надо жить правильно, как живут красиво, деятельно, ибо все, кому отмечают юбилеи, конечно, достойны восхищения, то есть, достойны или не достойны, я не знаю, но говорят о них обязательно с восхищением.

Однако юбиляры своих секретов почему-то не открывают.

И вот так, ничего не узнав, я добрался наконец до своего юбилея. Кто-то сидит в зале и опять ждет, что я что-то им открою.

Попробую открыть. Я, например, понял, что заслуживаю похвал прежде всего потому, что дожил до нынешних лет, это удастся не каждому, и, естественно, те, кому удастся, считают себя достойными похвал и достойными того, чтобы учить других, как надо дожить, тем более что, не дойдя до этого юбилея, невозможно будет справиться следующей.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Пожарных хвалят за потушенные пожары, писателей – за написанные книги. Конечно, каждый труд уважаем и почетен, однако насчет писательского у меня есть некоторые сомнения, поскольку писать – это удовольствие, а если человек получает удовольствие, то надо платить за это удовольствие, а тут ему деньги платят за то, что он получает удовольствие, так в чем же тут его заслуга?

Почему лично я стал писателем? Потому что с детства мечтал поздно ложиться спать, а еще больше мечтал о том, чтобы поздно вставать.

Иногда писать неохота, но потом вспоминаешь, что, оказывается, это удовольствие, – и садишься. Чем больше пишешь, тем меньше понимаешь, как это делается, и тем меньше получаешь удовольствия.

Моя заслуга состоит в том, что я избавил всех от торжественного заседания, прежде чем сесть за банкетный стол, пришлось бы слушать адреса, телеграммы и художественное чтение. Юбилей – дело отнюдь не серьезное и не повод для размышлений о жизни, раньше надо было размышлять, юбилей нужен для того, чтобы вас всех собрать, и не тех, кто зачем-то нужен, а только тех, кто необходим...

Н. признался мне, что давно уже не хочет с ней спать. Неинтересно. Он наперед знает каждое ее слово, как она вскрикнет, потянется, вплоть до той минуты, когда она притянет его голову к себе и быстро уснет. «Все мои действия притворство, и удовольствие мое только притворство. Может, и у нее тоже. Мы в этом никогда не признаемся друг другу. Если она спросит: может, мне не хочется, так ведь я буду разуберять изо всех сил. Никакого желания у меня нет, она его добивается известным способом, и я тоже добиваюсь, пробуждая фантазию, воспоминания, тут и жалость, и вина, чего только нет. Стыдно. И грустно. Все израсходовано».

ИГРА В ПРЯТКИ

Среди питерских писателей одним из моих любимцев был Геннадий Гор. Каждое лето в Комарово мы с ним гуляли по вечерам, обменивались книгами. Гор был книголюб. При встрече первой его фразой было не «Как поживаете?», а «Что читаете?». Сам он предпочитал философскую литературу. Читал Гуссерля, Ницше, Шеллинга, Канта, обдумывал, наслаждался изгибами человеческой мысли. Любил поэзию, историю искусств. Обо всем прочитанном горячо рассказывал, отбирая самое вкусное, осмеливался критично подходить к мировым авторитетам, вступал с ними, так сказать, в дискуссию.

С виду он был типичный книжник – толстые очки, за ними добрые выпученные глаза, большая лысая голова, держался стеснительно. Я не помню, чтобы он повышал голос. От него исходила мягкая деликатность. Невысокий, сутулый, с робкой полуулыбкой, он охотно уступал в спорах, но это не означало согласия. Доброта не позволяла ему добиваться победы, его дело было высказать свое мнение, а там уж – воля ваша, другой человек не сразу усвоит, надо дать ему время. Скромность у него соседствовала со страхом. Страхов было много, прежде всего «госстрах» – хронический, неизлечимый страх советской интеллигенции перед властью, непредсказуемой, лишенной всяких нравственных правил.

С возрастом страх прибывал и прибывал, не давая распрямиться. Кроме всеобщих страхов Гора преследовал и свой, личный, сокровенный страх. Сперва я полагал, что это последствие побоища космополитов. А может, когда-то ему досталось за формализм его ранних книг. Но вроде его фамилия не упоминалась ни в каких постановлениях. Войну он прошел благополучно. Уцелел. Правда, про свою войну он не рассказывал и не писал про нее, но ведь далеко не все стали военными писателями.

Когда война кончилась, все полагали, что наступит умиротворение. Долгожданное всеобщее счастье. Казалось бы, советский народ отстоял Родину, а с нею и советскую власть, спас жизнь горячо любимому Сталину и всем его верным соратникам. Ни один из вождей не погиб на войне. Народ, включая интеллигенцию, партия – были едины в годы войны и, стало быть, заслужили доверие своих правителей. К чему отныне искать врагов? Так виделось Гору и его друзьям.

Не тут-то было. Сразу же стали прочищать мозги. Преодолевать «низкопоклонство перед Западом». Появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая жизнь», и пошло-поехало. Появился новый враг советского строя – космополиты. Когда с них срывали маску, там большей частью оказывались

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
евреи, а обличать евреев – это дело безошибочное, никогда не помешает. Но и эти страсти его счастливо обошли.

Общение с Геннадием Гором было удовольствием. Ходили мы с ним в комаровский Дом творчества писателей, навещали литературоведа Н. Я. Берковского, его Гор чтит как мудреца, эрудита. Заходили к Леониду Рахманову, Владимиру Адмони. Летнее Комарово было праздником общения.

Геннадий Гор, домосед, каким-то образом умудрялся знакомиться со многими молодыми ленинградскими художниками, выискивал наиболее талантливых, покупал их работы из своих скудных гонораров. Безошибочный его вкус привлекал авангардистов, к нему на дачу постоянно приезжали, привозили свои картины Зверев, Михнов, Арефьев, Кулаков, Эндер... Он внушал молодым уверенность в будущем успехе. Приглашал своих друзей-писателей полюбоваться их работами.

Особую любовь питал он к художникам народов Севера. Он открыл и преподнес широкой публике мир замечательного художника – ненца Валентина Панкова, написал о нем книгу.

Романы, повести Г. Гора о науке, о Забайкалье успехом не пользовались. Куда удачнее было его обращение к научной фантастике. Там хороша была его поэтичность, сказочность его выдумки. Но все время меня не покидало ощущение иных, скрытых возможностей автора. Что-то было в нем непроявленное, недосказанное. Посредственностью он не был. Когда-то от него ждали взлета, но взлета не получалось, Гор превращался в одного из тех, кого числят региональным, местным литератором. Выходили у него книга за книгой, были свои читатели, появлялись рецензии, можно было считать себя не хуже других, таких писателей, наверное, немало. Но все же я продолжал ждать от него необыкновенного. Все разрешилось трагически. Геннадия Самойловича отвезли в психоневрологическую больницу, где он и скончался в 1981 году.

А через некоторое время подобное же заболевание настигло и его жену Наталью Акимовну, что поразило меня, потому как была она абсолютно земная женщина, физически могучая, рослая, поглощенная дачей, огородом, детьми, не вникала в произведения супруга, живопись ее также не занимала, ее дело было кормить голодных художников, ухаживать за мужем. В гостях, в застолье она молча слушала высокоумные рассуждения и восхищалась своим супругом. Невозможно было понять, как сошлись эти двое, как прожили десятки лет в любви и согласии, что находили друг в друге. С виду – противоположности и внешне и внутренне, а вот поди ж ты, даже психическое расстройство Гора передалось этой, казалось, такой трезвой, практической женщине, следовательно, есть что-то в любви помимо общих интересов, сердечной привязанности, появляется, что ли, физическая общность организмов.

Неожиданности начались после смерти Гора. Одна за другой стали выясняться удивительные истории о его, казалось бы, обыкновенной книжной жизни писателя не очень известного, быстро забываемого. Многие рассказал Юра Гор, сын писателя, а затем его внук Гена.

Прежде всего я узнал, что Гор воевал с первых дней войны в составе известного ленинградского взвода писателей. Почему-то никогда Гор не упоминал об этом. Да и о дальнейшем участии в войне не рассказывал. Для того времени странно. Солдат чтили, они любили травить фронтовые байки. В справочнике «Ленинградские писатели-фронтовики» Гор не упомянут. Все там есть, а его нет. А, между прочим, он был капитан, командовал пулеметным взводом. Воевал он отважно. Вместе с Глебом Алехиным взяли они языка, были в окружении. Про это я знал. Долго выбирались, еле живые добрались до Ленинграда. Его пристрастно допрашивали особисты: где ваши пулеметы? Обратили внимание – почему у всех автоматы, а Гор вышел с японским карабином. Он объяснил, что раздобыл, карабин ему привычнее с молодых охотничьих лет, в Бурятии он считался отличным стрелком. Особисты проверили его в стрельбе по цели и отпустили. В армию вернуть не могли – до того он был изможден. Эвакуировали в Пермь, куда он прибыл в середине 1942 года дистрофиком.

Не был ни ранен, ни контужен, тем не менее война глубоко травмировала его. Чем? Он вдруг осознал себя убийцей. В августе 1941 года, когда ополченцы держали оборону, он залег в кустах, подстерегал немцев и стрелял. Клад с одного выстрела. Сколько он перестрелял немцев за эти дни, он никогда не вспоминал,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
хотя в то время геройство мерилось именно числом убитых солдат противника. Всю зиму 1941 года, весну 1942-го на Ленфронте шло «движение снайперов». Появлялись герои, на счету у которых было 50–100 «фрицев». Феодосий Смолячков уничтожил 125 немцев. Искусных снайперов награждали орденами, Золотыми Звездами Героя. Никто не принимал стрельбу на войне за убийство, человек на той стороне был всего лишь мишенью.

В Баргузине дед брал маленького Гора на охоту. Они стреляли соболей, Гор стал хорошим охотником. Немудрено, что в армии, на полковых стрельбищах, он занимал первые места. В картонные фигуры безошибочно всаживал в сердце пулю за пулей. На расстоянии пятисот метров.

В армию он попал потому, что его исключили из Университета. Исключен с последнего курса в 1930 году за формализм.

Сон соболю приснился не соболий,
И тополю не топал тополь.
И плакала волна в Тоболе
О Ермаке, что не увидит боле...

Стихи у него получались не такие, как положено, рассказы малопонятные, их абсурдность раздражала, они нарушали все литературные традиции, там было нечто, предвещающее обэриутов.

В армии он выглядел Швейком. Детские глаза навывкате, усиленные толстыми линзами очков, круглая физиономия чудака-добряка, взгляд, плывущий прочь от казарменных порядков. Он не годился ни для какой должности, его неряшливый штатский вид нарушал строй, однако он был первоклассный стрелок, занимал призовые места, так что его терпели. На этого непоправимо штатского типа обратил внимание командарм Тухачевский, когда на него налетел Гор с кастрюлей щей, несомых ротному. Рядовой облил гимнастерку командарма. Струхнув, рядовой озадачил командарма цитатой из Шопенгауэра, пролепетав: «У многих людей зрение всецело заменяет мышление, а у меня наоборот». Мало этого, со страху он блеснул еще французским: «Все революции происходят от желудка» – слова, приписываемые Наполеону. Бывший дворянин, Тухачевский знал французский, чем ответно щегольнул. Вместо разноса командарм отряхнулся, взял этого чудика под руку, и они прошлись по двору. Разговор на равных замызганного очкарика в обмотках и легендарного командарма в сиянии орденов и больших золотых звезд произвел впечатление на свиту.

Личность Тухачевского была овеяна романтикой Гражданской войны, позже добавился еще ореол великомученика, расстрелянного «врага народа», талантливого полководца; потом, уже много позже, образ этот стал покрываться пятнами жестоких обличений. Выяснилось, что на самом деле в единоборстве Пилсудского и командира Западного фронта Тухачевского польский маршал сумел отстоять Варшаву, а красноармейские части потерпели поражение и бежали. Красный командарм был слишком самонадеян, тщеславен, несмотря на трагическую судьбу его называют то авантюристом, то жертвой. Кроваво, безжалостно он расправлялся с восставшими крестьянами Тамбовщины. Много грехов тянется за ним. Но, когда Гор встретил его на полковом плацу, молодой командарм был для него богоподобным, напоминал Наполеона.

Ничего не поделаешь, сперва они все вызывали у нас восхищение, сочувствие – военные, оппозиционеры и прочие герои хоть и слабого, но все же сопротивления. Когда стали публиковать их покаянные письма вождю, их униженные мольбы о пощаде, кумиры стали рушиться один за другим. А тех, кто не каялся, убивали без суда, иногда на допросах.

Еще до того, как Гора исключили из Университета, он редактировал университетскую газету. Охотник, поэт, снайпер, да к тому же общественник.

Однажды ректора Университета и весь совет пригласил к себе руководитель Петросовета Зиновьев. В числе прочих ректор взял с собою Г. Гора. Что там обсуждали, в дальнейшем никого не интересовало, после убийства Кирова важно стало участие в той встрече с «врагом народа», «замаскированным троцкистом», «шпионом», завербованным иностранной разведкой, организатором убийства Кирова.

Забирали одного за другим тех, кто был на той встрече, Геннадия Гора упустили, поскольку он был уже исключен из Университета. Вроде повезло, но с той поры началось мучительное ожидание ареста: рано или поздно до него доберутся...

После казни Зиновьева поспело «Дело военных» во главе с маршалом Тухачевским. К тому времени солдата Гора произвели в офицеры не без участия маршала. В армии разразилась невиданная чистка. Тысячи, десятки тысяч командиров всех рангов арестовывали, судили, отправляли в лагеря, расстреливали. И опять Г. Гора проглядели. Кошмар ожидания усиливался. Рано или поздно его должны были обнаружить. Органы его упустили, но страх не упустил, вцепился и не покидал. Прошлое, недавно удачливое, превратилось в смертельную угрозу. Между тем писатель в нем не давал покоя. Появилась многообещающая, ни на что не похожая проза обэриутов: Хармс, Олейников, Введенский, Заболоцкий. Появился Леонид Добычин. То, что они делали, было близко Гору, его рассказам, стихам. Обэриуты, в сущности, занимались игрой, их забавляли словесно-смысловые возможности обнажать абсурды советской жизни тридцатых – сороковых годов, позабавляться с нелепостями общепринятых устоев, которые тут же соскальзывали в буффонаду.

На вечере в Доме писателя в 1936 году обсуждали повесть Леонида Добычина «Город Эн». Необычная проза вызвала критику, и грубую. После обсуждения Добычин пропал. Ушел и пропал. Как, где, что случилось – так тогда и не выяснили. То было время исчезновений. Люди исчезали без следа.

Видимо, покончил с собой.

Обэриутов сперва «выслали» на страницы детских журналов «Чиж» и «Еж». Потом они были разгромлены, репрессированы, высланы на самом деле.

В 1937 году Даниил Хармс написал стихи, как бы вслед исчезновению Леонида Добычина. На мотив детской песенки:

Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.
Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.
И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.
И если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.
Но оттуда, из «темного леса», не возвращались.

Перегруженная машина уничтожений то и дело давала сбои. Как обычно, гнались прежде всего за количеством. Гора опять проворонили.

Для иностранцев империя, может, и выглядела Империей Зла, для ее обитателей она стала Империей Страха.

На воображаемых картинах предстоящих допросов Гор все отрицал – свои симпатии к Тухачевскому, отвергал обэриутов, Добычина, Вагинова, всех, кого любил, отрекался от своих вкусов, надежд, мечтаний. Будущее было заполнено мерзостью предательства.

Хармса арестовали в 1941 году за то, что он осуществлял «вредительскую деятельность» в журнале «Сверчок» для дошкольников.

Эйфория классовой борьбы перешла в массовый идиотизм. Трудно представить, чем бы это кончилось, если бы не грянула война.

В феврале 1942 года Хармс умер в тюремной больнице. Геннадия Гора блокада

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
привела к дистрофии. Его отправили в госпиталь и эвакуировали из Ленинграда.

Фронтальная жизнь не прошла даром, она принесла Гору отчаянность. Когда терять нечего, на переднем крае живешь случайностью; дальше фронта не пошлют... больше пули не дадут.

Он стал прорываться к себе молодому, к своим безумным стихам.

И в нас текла река, внутри нас,
Но голос утренний угас,
И детство высохло как куст.
И стало пусто как в соломе...
Мы жизнь свою сухую слоим,
Чтобы прозрачнее стекла
Внутри нас мысль рекой текла.

В рассказе «Вмешательство живописи» один из героев говорит: «Я – за импровизацию слов против напряжения всякой мысли. Я – за неожиданность искусства против логики науки».

Стихи Гора не привлекают ни музыкой, ни формой, но есть в них упорная попытка уловить поток сознания, передать блуждание мысли. Я прочитывал в них последнюю отчаянную попытку вернуться к тому, молодому автору книг «Факультет чудаков», «Живопись».

Может быть, что-то и получилось бы, но после Победы партия принялась наводить порядок в мозгах победителей. Не кончилось еще гулянье-похмелье, как в 1946 году (!) ударили по Зощенко, Ахматовой, может, наиболее популярным писателям, да так ударили, чтобы выбить из голов всякие вольности. Сталин провел многочасовое заседание Оргбюро ЦК, лично вправляя мозги ленинградским писателям. И пошло-поехало. Борьба с низкопоклонством перед Западом (насмотрелись в Прибалтике, в Германии!). Борьба с космополитами – новое пугало – разоблачить, изгнать! Не надейтесь на ослабление порядка, на вольнодумство. Одно постановление следовало за другим: «антинародный формализм», в музыке – это о Шостаковиче, Прокофьеве, Хачатуряне.

Давным-давно его должны были арестовать, сослать, а то и расстрелять как зиновьевца или как «ставленника Тухачевского», мало ли, почему-то не получалось. Фортуна спасала его, опять давала отсрочку. Никому не давала, кругом его друзья, однокашники были уничтожены. Заболоцкого посадили, Гнедич, Гуковский, Медведев, Леонид Соловьев, Лебедево – ссылали, сажали, разоблачали, всех не вспомнить. Почему судьба обходила Геннадия Гора, может, надеялась, что он преодолет свои страхи?

Он боялся даже заглядывать в свои молодые стихи, где открывалось нагромождение порой чудовищных картин:

С веревкой на шее человек в огороде
Он ноги согнул и висит
И вошь ползет по его бороде
И жалость в раскрытых настежь глазах
В закрытых ладонях зажата
Жалость к весне что убита
К жене что распята
И к дочке что с собой увели

Он выбирался из всех переделок, уцелел и на войне. Счастливчик. Цепи счастливых случайностей, которые редко приходятся на одного человека.

Не знаю, как глубоко его травмировала война. В рассказах о нем много белых пятен. Если б я знал, как он воевал, я бы кое-что у него выведал, у фронтовиков существовало особое братство доверия. Думаю, что даже Юре, единственному сыну, он не все рассказывал. Умение прятать и прятаться стало привычкой, лучшее средство спасения, каким он располагал. Прятался от самого себя. Ничего подобного ни у кого из солдат Великой Отечественной я не встречал. Тем более у военных писателей.

Истовая его любовь к авангардной живописи молодых художников сублимировала его собственные устремления. Когда-то и он порывался сам уйти подальше от соцреализма. Теперь он завидовал и радовался бунтующим полотнам молодых. Время

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
от времени он выискивал среди прозы нечто близкое ему, необычное, вызов
обыденности, прелесть абсурда. Так его обрадовала повесть Александра Житинского
«Лестница».

В 2005 году в «Звезде» появился роман Гора «Корова». Написан он был 75 лет
назад. Я читал его в рукописи. Роман сумбурный, странный, но впечатление было
ясное – еще один своеобразный талант утерян. Если бы не кошмары 1920–1930-х
годов, если бы ему не мешали страхи... Один за другим, никакой передышки, они
настигали повсюду, куда бы он ни прятался... Однажды он выбрался из Комарово
поехать в город, в Эрмитаж, на выставку французских импрессионистов. Вернулся
оттуда пришибленный, испуганный: он там позволил себе публично восхититься
живописью и на него накинулись, доказывали превосходство русских передвижников,
выставку называли мазней, его – космополитом. Я знал эту публику, агрессивную,
грубую, в те годы спорили ожесточенно, доказывали, что западное не может быть
лучше нашего искусства, потому что мировоззрение у них гнилое.

– Или мы лучше всех, или хуже всех, – недоумевал Гор, – почему мы не хотим быть
как все.

Недавно среди старых бумаг попала мне папка его стихов – «июнь-июль 1942
года». Кажется, кто-то из родных подарил мне на память о нем. Лето 1942-го, он
находился уже в эвакуации. Стихов было много – сотня, может, больше. Почти все
воспаленные, если не вчитываться – заумные, некоторые для меня бессмысленные или
зашифрованные? Но какие-то отгадки там были, отгадки его припрятанных чувств:

Сезанн с природы не слезая
Дома и ветви свеживал
Вот в озере с волны снял кожу
И дуб тут умирая ожил
Трава зеленая в слезах...
С домов на камни боль текла
И в окнах не было стекла
А в рамах вечно ночь застряла
В стихах почти не было войны. Он не пускал ее. Лишь однажды она прорвалась:

...И вот мы в окопах сидим
На небо глядим и видим летят
То ближе, то дальше
И бомбы кидают
Любино поле расколото вдрызг
И Луга-реченька поднята к самому небу
Ах, небо! Ах, Ад! Ах подушка-жена!
Ах детство! Ах, Пушкин! Ах Ляля!
Та Ляля с которой гулял,
Которой ты все поверял
Ах сказки! Ах море и все!
Все поднято, разодрано к черту
И нет уже ничего
Деревья трещат. Дома догорели.
Коровы бредут и бабы хохочут от горя
Он умер в 1981 году в психиатрической больнице. Уже потеплело, страна распевала
песни Высоцкого, Галича; Сахаров выступил против войны в Афганистане, ничего
этого Гор не воспринимал, его игра в прятки увела его по ту сторону разума, где
он сам себя не мог найти, ни страхи, ни оттепель его уже не доставали. Он уходил
бесшумно, на цыпочках, стараясь не будить демонов своей жизни. В Комарово без
него что-то исчезло.

Его страхи напоминали мои собственные. В те годы многие из нас отступали,
изменяли себе, кто-то сумел вернуться, кто-то смирился. Недаром время от времени
я вспоминаю угрожающую судьбу этого человека.

Как ни удивительно, понадобились годы, чтобы я понял трагедию его личности, его
судьбы, да и того проклятого режима, который все же настиг его.

Слабак, не смог осуществить себя, но не предавал других, только свой собственный
талант предал, но не запятнал свою совесть, по тем страшным временам это немало.
Ломались, уродовались куда более сильные. Известно, что судить человека надо по
законам его времени, но как трудно узнать и прочувствовать те законы. Талант,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
чем он неповторимей, тем он был опасней, слабость была губительна, хотя кто знает, может, она бывает неотделима от таланта.

В Великую Отечественную на разных фронтах погибло двадцать писателей Ленинграда, пятьдесят умерло в блокаду, за годы репрессий было расстреляно семьдесят писателей, всего репрессированных в Ленинграде было сто шестьдесят писателей, по стране около двух тысяч, из них погибло полторы тысячи.

ЖИЗНЬ КРЕПОСТНЫХ

Интересные материалы попались мне в районной газете «Красный Октябрь» за 2007 год (Волоконовский район Белгородской области). Из записок польского управляющего Карла Красовского, подготовленных к печати в январе 1861 года.

Опубликовал их краевед Петренко.

Красовский описывает вотчину по реке Оскол, саму реку, полноводную, густо населенную разнопородной рыбой – сомы, лещи, язь, линь, плотва, налимы, бирючек. По реке стояли мельницы, было их до 50, водяных, ветряных. В революцию сносили их заодно с церквями «бессмысленно и беспощадно», словно нечто чуждое, а ведь они на Руси работали со времен IX века.

Мололи зерно, земля давала до 1000 пудов с десятины. Десятая доля шла на храмы, три дня крепостные работали на помещика, три дня на себя. 102 семьи имели от 3 до 6 лошадей, свиней 1200, коров, волов 3600. 72 семьи имели пасеки от 10 до 80 ульев. В селе жило 229 семей, в среднем 10,5 человек семья. Так что было многолюдное село. Разводили овец, тысячи.

Хаты были липовые: «всегда там сухо, воздух в доме особенно чист и здоров... внутренние стены выглажены, всегда чисты и необыкновенно опрятны».

Хороших работников отпускали на рыбалку, в отход.

Конечно, перекупщики «бессовестно обманывали, наживались, перепродавая хлеб, шерсть, это как водится».

«Лесная стража состоит из 21 лесничего и старшего над ними. Лес был чистый, ухоженный, трухлявые и больные деревья спиливались и увозились... В каждой деревне по атаману, в помощь им восемь десятских и один полицейский».

Массового пьянства и драк даже по праздникам не наблюдалось. На мельнице особый смотритель. На гумне – гуменный и три ключника. Что меня тронуло – был особый надзор за рекой и прудами, за нерестом, за зверьем и птицами. Интересно знать, в чем он выражался, этот надзор. В дневное время избы практически не замыкались.

Медицину творили знахарки, они лечили травами, снадобьями и «на воде» (не знаю, что это).

* * *

«Благоденствия приятны только тогда, когда можешь за них отплатить. Если же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью» – так писал Тацит. То же относится и к подаркам, и к помощи, за которую нечем отплатить.

Сенатор Фулбрайт сказал мне в Пакистане:

– Вы спрашиваете, почему нас, американцев, здесь так не любят. Отвечаю. Вы, СССР, сколько им даете? Не знаете, а я знаю. Около ста миллионов долларов, а мы десять миллиардов. Поэтому они нас ненавидят.

МЕДВЕДЬ

Австрийский миллионер купил лицензию на отстрел медведя. Приехал в Болгарию, встречали его по высшему классу, особняки, машины, свита, а тут выяснилось, что медведя нет. Был и ушел куда-то. Искали-искали, миллионеру невтерпех, решили взять из цирка, старого, можно сказать, списанного. Привезли, отпустили в лес. Медведь походил, вышел на дорогу – тянет к людям. На дороге лесник оставил свой велосипед. Австриец сидит в засаде, вдруг видит: на него мчится медведь на велосипеде. Дальше рассказывать я не в силах...

* * *

Однажды я выслушал такой монолог одного строителя:

И что вы думаете, он был убежден, что так и будет.

ДЕЛА БАЛЕТНЫЕ

На гастроли во Францию готовилась ехать балетная труппа ленинградцев. Долго обговаривали репертуар, кого брать, кого не брать. Накануне отъезда вызывают сопровождающую от обкома, говорят ей:

– Поедете без руководителя, его нельзя.

– Почему?

– Нельзя и все.

Она:

– Это невозможно, там будет скандал.

Не слушают:

– Переживут скандал.

Она обращается к первому секретарю Романову, а тот:

– Не будь адвокатом, скажи, что готовится провокация, а мы хотим избавить его от опасности.

Она в крик:

– Да вы ничего не понимаете, вы срываете гастроли, нас там забросают, заключут, что будет в газетах!

Он ей говорит:

– Ничего, не такое выдерживали, покричат и успокоятся.

И вот с этим она должна была ехать к О. В. У того чемоданы собраны, все готово. Она ему:

– Извините, ваш отъезд задерживается.

Он все понял, побледнел. Она успокаивает. Он не слышит. Она:

– Может, завтра все решится.

Он только махнул рукой. Она видит, в каком он состоянии, говорит:

– Надо вам в больницу лечь, отдохнуть, – боялась, что инфаркт его хватит.

Вечером позвонила:

– Еще может все решиться.

Утром ей звонит Романов:

– Ты что там наобещала?

Она:

– А вы послушайте телефонную запись, ничего не обещала, вам наговорили.

Молча повесил трубку.

О. В. поехал в консульство, сообщил, что не едет. Там на дыбы: что? как? почему? Он ничего не объясняет. Они в Москву. Дело дошло до Политбюро. Разрешили.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

В Париже гэбэшники стали провоцировать его, хотели, чтобы он остался – доказать, во что бы то ни стало доказать. Перед пресс-конференцией придумали предлог – вызвать его срочно в Москву. Рассчитывали, что уйдет, останется, так как явно его отзывают и назад не пустят. Намекали, что никогда не выедет. Он поехал в Москву и, к их огорчению, вернулся на гастроли.

* * *

Долина, окруженная свежее-зелеными холмами. Алтайский городок маленький, без строек, без промышленности. Есть два кинотеатра. Висит через улицу лозунг «Привет лилипутам!». Приехал их ансамбль. Спрашиваю рыбу, рыбаки разводят руками: поймали тайменя 18 килограммов, продали и все пропили, «нет смысла ловить». Есть парк из лиственниц. Красноватые стволы. Между ними бродят кони, блестящие, как смазанные, их привлекают красно-лиловые кусты «марьяных кореньев».

В столовой лилипуты обедают, я слышу их разговор:

– Мы ощущаем недостачу в подъеме энтузиазма.

Ему отвечают:

– Потому что вы ищете под фонарем.

– Что это значит?

– А то, что кошелек ищут не там, где потерял, а под фонарем.

НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ

Памятник создателю танка Т-34, конструктору. На надгробии маленький зеленый танк. Неужели вся его жизнь сводилась к этому танку? Из-за этого его любили. Этим вспоминают. Почти ни у кого нет эпитафии. Должности, награды, звания.

Создатель строительной плитки – его плиткой облицовано надгробие.

Генералы, маршалы – на их бюстах аккуратно вылеплены все ордена. Военных много. Но были же еще мужья, отцы, где скорбь, тоска вечной разлуки, слезы, благодарная память, любовь? Где все это? Неужели только до революции ангел печально склонялся над урной, обнимал крест? Сейчас, в 1979 году, ангелов отменили.

Вряд ли кто поймет, что советскому человеку недопустимо было страдать, чувствовать себя несчастным от потери близкого, уж во всяком случае запечатлеть свое страдание, ужас перед смертью в могильном надгробии.

Путешествуя по узким кладбищенским тропкам, обнаружил новость – бывший наш президент Подгорный здесь лежит. И Первухин – член Политбюро, тоже бывший. Об их уходе не сообщалось. Хотя Новодевичье тоже требует привилегий, даже от бывших. Филиал Кремлевской стены.

Микоян лежит без памятника. Может, будет.

Некоторые памятники таинственны – только фамилия, имя, отчество. Засекречен был при жизни, так и ушел с грифом. Вперемежку с ними Щуко, Булгаков, Чехов, Фадеев. Кладбище причудливо тасует своих жильцов. Прах Огарева привезли из Лондона, погребли рядом с заместителем министра финансов. Боюсь, что навсегда.

ВСТРЕЧА НА ДАЧЕ

Собрали нас 19 мая 1957 года. После XX съезда. На бывшей даче Сталина. Венгерские события порядком напугали вождей. Был еще польский кризис. Шепилова отстранили от Министерства иностранных дел. Секретарь ЦК Ильичев внушал Хрущеву, что вся смута в социалистических странах идет от писателей, и у нас тоже. Вот вышла «Литературная Москва» с вредными статьями Крона и др., где напечатан рассказ А. Яшина «Рычаги» против партии, в «Новом мире» роман Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Гранина «Собственное мнение» – идейно вредный. Если эти безобразия не пресечь, то и у нас смута начнется. Надо пресечь. Немедленно. Затянуть гайки после разоблачения культа. А то и в Политбюро раздор: Молотов, Шепилов, Первухин и др.

Началась встреча мирно. Идиллическая картина – дача, летние наряды, аллеи,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
зелень, пруды и вожди. Впервые ходят по аллее среди нас, Микоян, Молотов, Булганин, Хрущев – ходят портреты. Здороваются, пожимают руки. Кто-то, кажется Борис Полевой, представил меня Молотову. «Аа-а, „Собственное мнение“, – сказал Молотов, – это ваш рассказ?» – «Мой». – «Что же вы. – Он укоризненно покачал головой. – Зачем вам, это же против партии. Вот роман „Искатели“ у вас хороший».

То, что Молотов говорит со мною, светит солнце, сад, распускаются листья, что он не на трибуне – все это было удивительно для моего советского сознания, но еще удивительней было, что он читал этот не бог весть какой рассказ и говорит о нем всерьез, словно о событии.

– Но ведь надо же, Вячеслав Михайлович, иметь собственное мнение! – выпалил я первое, что пришло мне в голову.

Молотов помрачнел, резко так согнал с лица приветливость. Наступила неприятная пауза. Борис Полевой преувеличенно весело подозвал к нам Паустовского, который шел мимо, а за ним и Эренбурга. Ему хотелось как-то разрядить напряжение, что-то произошло, связанное скорее с моим ответом, чем с моим рассказом. В чем было дело, я не понимал, да и Полевой, опытный журналист, тоже, видно, не понял. Чтобы сменить тему, он заговорил о замечательной работе Эренбурга в прессе в годы войны. Разговор перешел на журналистику, и вдруг Эренбург довольно язвительно спросил как бы всех, какой смысл иметь столько газет, если все они пишут и сообщают одно и то же, причем совершенно одинаково. Достаточно иметь одну газету. Молотов помрачнел, опять получилось не то, не так. Тогда Паустовской со своей милой улыбкой вспомнил, как в молодости он работал в одесской газете «Морьяк», мальчишки-газетчики кричали, продавая ее: «Газета мрак, мрак!». Так вот, им, сотрудникам, надоели газетные штампы, все эти обязательные наборы фраз, решили, чтобы оживить текст, добавлять одно словечко, например, в некролог: «с прискорбием сообщаем, что от нас ушел...» вставляли «наконец-то».

Посмеялись, разошлись, но запомнилась, даже поразила меня неадекватная реакция Молотова. Через несколько месяцев разъяснилось. Мог ли я представить, как совпали мои слова с тем, что происходило там, за кулисами, в Политбюро. Как раз тогда на Молотова «катили бочку» за иностранные дела, за Югославию и какую-то неуступчивость, вот тебе и «собственное мнение», кто знал, может, я как раз наступил на мозоль.

Позвали к столам. Небо было ясное, тепло, красиво, шатер, крахмальные скатерти, бутылки, рюмки, осетрина, кто знал, что разразится гроза и в небе и на земле.

* * *

Надо отделять поступок от человека. Поступок может быть плохой, но значит ли это, что человек плохой? Далеко не всегда. Осуждать поступок – да, жалеть о поступке – да, но перечеркивать человека – рискованно.

Самому человеку легче будет казнить себя за этот поступок, если он отделен от того, что совершил. Иначе он станет в позицию самозащиты, станет доказывать, что он не плохой, сами вы все плохие.

Запоминается (и надолго!) не брань, а остроумная оплеуха, так, Владимир Яковлевич Александров, когда его попросила Лепешинская сказать мнение о своем докладе, ответил:

– Есть вещи, Ольга Борисовна, которые в присутствии дам не говорят.

Вагнер, по свидетельству Гельмгольца, ценил свои стихи выше, чем свою музыку.

Ньютон считал величайшим произведением своей жизни «Замечания на книгу пророка Даниила».

Эренбург считал себя прежде всего поэтом, а не прозаиком.

Радость видеть вас умеряет только частота ваших визитов.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Живопись – жизнь, которую окликнули, она остановилась взглянуть на вас. Будь то портрет или пейзаж, в любом случае картина позволяет взглянуть в подробности. Потому что портрет или пейзаж – они остановлены. Фотография же не останавливает жизнь, а убивает ее. И затем придает трупу нужное положение. Фотограф подстержет нужный момент и выстрелит в него. Художнику движение не мешает, ему нужны одновременно и смех и слезы, и ветер и покой.

Кто был прав – Анна Ахматова или Михаил Зощенко?

Анна Ахматова, когда ее спросили английские студенты, как она относится к докладу Жданова, сказала дипломатично: это, мол, критика, на которую руководство имеет право, что-то в этом роде.

Михаил Зощенко высказал свое возмущение докладом, сказал, что не может согласиться с тем, что его называют трусом и подонком.

Анна Ахматова сохранила возможность работать, некоторое время ее не печатали, но и не трогали, обходили, она пользовалась покоем, отступничество не ставили ей в вину ни с той ни с другой стороны.

И окружение, и начальство простили.

Зощенко пострадал смертельно, на него накинись, рвали его на куски, долго травили. Позже на писательском собрании он не пожелал каяться в своем ответе студентам. Это было самоубийственно, но это был первый бунт, открытый бунт после смерти Сталина. 1954 год. Вот и встает древний неотступный вопрос, который решал для себя еще Галилей, решал и Джордано Бруно – смириться, склониться ради творчества, ради науки либо не уступать, не каяться, сберечь свое достоинство, но тогда лишиться себя возможности творить, печататься?

Хочется сказать, что они оба были правы, оба поступили так, как считали нужным, как понимали для себя меру своей ответственности. Мы им не судьи.

Но так ли это?

Поэт Глеб Пагирев работал в издательстве «Советский писатель». Там решили выпустить сборник стихов Ахматовой. Глеба назначили редактором, но как он мог редактировать Анну Андреевну – не считал возможным. Однако надо было хоть чем-то обозначить себя, он ткнул в какое-то место в рукописи, сказал: «Я тут не понимаю». Анна Андреевна подняла на него глаза. «Что делать, – сказала она, – это не моя вина».

Как-то в Комарово Анна Андреевна, глядя на кипу своих рукописей, сказала: «И кто это читать будет?»

«Сталин – нашей юности полет».

«Никогда не видел, чтоб полицейский брал взятку, по-моему, это невозможно.

Социологи установили, что население доверяет: полиции – 95 %, политикам – 30 %.

У нас 60 тысяч озер, два раза в год в них проверяют воду.

При дорожных происшествиях оставить в опасности человека, проехать мимо – карается законом. Даже прохожий не имеет права пройти мимо.

У нас 80 % преступлений раскрывается».

Финские дороги прорублены сквозь гранитные горы. Едешь по гранитному коридору – стены красные, желтые, серые. Сколько труда стоит каждое шоссе, и какое ощущение

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
прочности сделанного.

Дикая природа здесь хорошо прирученная, но дикость остается как признак здоровья.

МЕДАЛИ

В русской истории бывали случаи, когда медаль вручалась отнюдь не в награду, а для острастки.

Петр I, как известно, не чурался доброй чарки, но людей, излишне приверженных к вину, не терпел. С особой строгостью преследовал он тех, кто в нетрезвом виде появлялся на службе или во время ассамблей напивался «до положения риз». К таким пьянчугам по указанию царя применялись суровые меры. Одной из них был церемониал «награждения» провинившегося специальной медалью. Она имела форму восьмиконечной звезды, отливалась из чугуна, была величиной с тарелку и весила полпуда. Надпись, выбитая с обеих сторон, гласила: «За пьянство».

Регалия эта цепью крепилась к металлическому разъемному ошейнику, который запирался надежным замком. Удостоенные сей «награды» целую неделю должны были таскать ее на себе, чтобы прочувствовать «тяжесть похмелья». Как показала практика, случаи повторных «награждений» были крайне редки.

В 1709 году, накануне Полтавской битвы, по велению Петра I была отлита еще одна «позорная» медаль, которая предназначалась украинскому гетману Мазепе, переметнувшемуся в лагерь врагов. По форме она напоминала вышеописанную, весила десять фунтов (более четырех килограммов), но изготовлена была не из чугуна, а из серебра. Петр распорядился выбить на одной ее стороне изображение повесившегося на осине Иуды, под ним – 30 сребреников, а на обратной стороне медали надпись: «Треклят сей погибельный Иуда еже за сребролюбие давится».

* * *

Самым близкими людьми в ЦК КПСС были для меня Игорь Сергеевич Черноуцан и Александр Николаевич Яковлев. Когда Игорь Сергеевич заболел, остался Яковлев, остался не только для меня, а для многих из тех, кого числили творческой интеллигенцией. К нему ходили писатели, ученые, философы, киношники, все, кого беспокоила беспорядочная, бестолковая политика Горбачева.

Приходили мы с Алесем Адамовичем, Василем Быковым, обращался Григорий Бакланов, Евгений Евтушенко, Андрей Тарковский, Виталий Гольданский, Юра Карякин.

Яковлев был доступен, умен, надежен, понимал с полуслова, его не приходилось убеждать, он во многом был впереди нас, смелее в своих оценках.

До Франции Я. П. Рябов был послом в Чехословакии. Там он Сахарова ругал: «Сахаров оклеветал, Сахаров посмел оболгать свою родину, Сахаров подпекает нашим врагам...»

Когда в Париже мы приехали с Сахаровым в посольство, на пресс-конференции Рябов говорил: «Как правильно заметил академик Сахаров», потом он позвал нас в кабинет и сказал: «Андрей Дмитриевич, вам предстоят трудные встречи, на них вам будут задавать неприятные вопросы, мы, чтобы помочь вам, подготовили для вас ответы, я советую вам пользоваться ими». Сахаров только улыбнулся и сказал: «Да нет уж, я как-нибудь сам».

Ежи Лец правильно заметил, что «только один сумел прожить от Сотворения Мира до Страшного Суда – СТРАХ».

Вверх идешь всегда в окружении друзей, а вниз спускаешься одинок (Лоусон).

Все устроено, выстроено в этой Вселенной для человека, все физические постоянные приспособлены для существования человека, а сам он для чего? Ответа нет и не предвидится.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Прошлые преступления невозместимы, так же как и страдания, изменить ничего невозможно, те, кто расстреляны, те не оживут.

ВЕНЕЦИЯ

У Венеции есть несколько особенностей, которые отличают ее от любых других туристских центров. Дело не только в каналах. Прежде всего это город, где нет ни одного автомобиля, автобуса. Единственный город на Земле. Вы переходите улицу не оглядываясь. Вам нельзя сослаться на пробки, так что извольте явиться вовремя. Нет уличного движения, значит, нет светофоров, стоянок, гаражей. Гаражи для гондол обозначены двумя шестами, всажеными в дно канала. Туда на ночь загоняет гондольер свое судно.

По Венеции ходишь не так, как в других городах, привлекают не витрины, огромные роскошные выставки супермаркетов, универмагов, новые товары, разряженные манекены – все, что останавливает приезжего, постоянное верчение шеи, застывшие парочки у витрин, разглядывают, прицениваются, мысленно прикидывают, распахнутые двери магазинов, бутиков, ресторанов, новинки...

Торговая горячка отодвинута, магазины где-то за пределами внимания, они есть, но их нет, есть каналы, дворцы, мосты, за углом всегда неожиданное – площадь, памятник, оркестр, представление. А главное, архитектура, которая меняется – утром одна, на вечерней заре она другая, зеленоватые отблески каналов преобразуют ее, вода каналов – играет красками ничуть не хуже моря. По каналам скользят гондолы, на золоченом кресле блаженствуют пассажиры – семья, парочка, я разглядываю их сверху, с набережной, с моста, это не тротуарные пешеходы, я не знаю, как назвать их – каналоходы, гондольщики, пловуны, мчатся катера – водные такси, грузовые, перевозчики товаров, продуктов. Наши питерские реки и каналы в сравнении с ними – пустыни.

Венеция, хочешь не хочешь, пешеходная страна, здесь приходится шагать, мало того, то и дело поднимаешься и спускаешься с крутых мостков. С непривычки – утомительно. Зато хождение позволяет, заставляет смотреть и видеть город. В Венеции коэффициент постижения красоты выше, чем где бы то ни было. Мало что отвлекает от созерцания. Вот почему многие приезжают в этот город регулярно. Или часто. Или хотят еще и еще.

В Лидо, это курорт Венеции, ее лень, ее пляж вдоль Адриатики, улицы названы – Верди, Россини, Пуччини, Монтеверди. Только еще в Германии можно обеспечить улицы какого-нибудь города именами немецких композиторов. В связи с этим у меня появились мысли, мои собственные, о судьбе этой особы – Италии. Итальянские художники, например, могли бы обеспечить своими именами не курортный городок, а настоящий большой город, все его улицы, площади и переулки. Причем хватило бы художников весьма и весьма почетных, таких как Джотто, Мазаччо, Боттичелли, Леонардо, Рафаэль и, конечно, Каналетто, Гварди, которые без конца писали венецианские закаты и площадь Святого Марка. Можно ли жить за счет туристов? Можно, доказывает Венеция.

Хорошо ли это? По-моему, замечательно – она продает красоту, свою, не чужую, не подсовывает вам эклектику. Ее красота всегда та же, для всех, богатых и бедных.

Венеция работает, она не тунеядка. Она живет за счет прошлого? Да, но сколько сил она тратит, чтобы сохранять его.

У Венеции много поклонников, верных воздыхателей, они едут сюда при первой возможности, в обычной европейской жизни не хватает поэзии. Венеция обладает подлинностью уходящей романтики Ренессанса. Недаром главный ее сувенир – маска, венецианская маска обладает странным, загадочным выражением безулыбчивого бледного лица, в узкой средневековой улочке закутанная в плащ фигура, рука в перчатке, не поймешь, мужская, женская, закрывает свое лицо белой маской.

Венеция не очень-то завлекает порнозаведениями, казино, ночными клубами, мне они не попадались на глаза, для меня чудом были уцелевшее, чистота творения итальянской истории.

Италия – родина фашизма, родина мафии, она же родина художественного гения человечества, она родина великого киноискусства. Мало родить гениальных художников, зодчих, скульпторов, надо было сохранить их работы; в течение пяти – шести веков этим занимался народ. Старанием итальянских людей уцелело наследие

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Возрождения – храмы, росписи, витражи, картины, памятники, дворцы. Такое возможно, когда именно народ понимает, какой драгоценностью он владеет.

* * *

Когда я работал над книгой «Эта странная жизнь» об А. А. Любищеве, я познакомился с некоторыми учениками Александра Александровича. Учениками, друзьями, одномыслениками, не знаю, как назвать, это были серьезные, успешные ученые, среди них был Сергей Викторович Мейен, палеонтолог, автор симпатичного мне «принципа сочувствия». В научных спорах, утверждал он, надо стать на сторону противника, постараться понять его доводы, сочувственное их рассмотрение поможет обоим оппонентам получить какой-то результат от спора. У Мейена была специальная работа, посвященная этому принципу.

Его занимали этические проблемы, мы тогда, в 1980-е годы, горячо обсуждали их устно и письменно, спустя двадцать с лишним лет я нашел среди бумаг копию одного моего письма к нему, интересно, как воспринимаются те споры, отчасти это свидетельство наших поисков новых отношений между людьми.

«Дорогой Сергей Викторович!

Письмо Ваше вновь вернуло мысли к теме, давно занимающей меня, о нравственной безграмотности, как Вы выразились, об этической системе, о правилах жизни, о требованиях к человеку. Если Вы говорите о безграмотности, то начинать надо с азбуки. Азбуке обучают детей. И надо обучать с детского возраста вещам непреложным, простым – прописям, старинным прописям, которые заучивали, зазубривали вместе с азбукой. „Брать чужого нельзя! Почему это?“ – спросили при мне старого библиотекаря. Он пожал плечами – „Потому что чужое, а чужое брать нельзя“. Для него это правило было само собой разумеющееся, аксиома бытия, не требующая доказательств и обоснований, система запретов, такая же, как не врать, не бить маленьких... Все то, что должно стать внутренним законом.

Когда мы пытаемся воспитать преимущественное уважение к социалистической собственности, мы разрушаем априорность. Вместо заповеди получается рассуждение; нет запрета, есть Уголовный кодекс с разными мерами наказания.

Вас интересуют не эти очевидные прописи, а спорная этика, нравственные положения, которые „даются особенно трудно“. Но думаю, Вы согласитесь, что усвоение (хотя бы обучение) школьное элементарных заповедей намного облегчило бы и Вашу задачу, и вообще решение для человека многих этических задач.

Положения, которые Вы выдвигаете, чрезвычайно интересны, некоторые спорны, но я почувствовал, как все они выросли, разветвились из Вашего „принципа сочувствия“, из раздумий Ваших о том, что же такие за люди были блаженные, святые, из внимания к нетрадиционным проблемам истории религиозной жизни. Как глупо, что в своем атеистическом рвении мы не используем огромные этические богатства, накопленные религиозным воспитанием, – методику, психологию, систему обучения. Вы упомянули катехизис. Недавно я смотрел катехизис 1889 года. Это было 67-е издание! Представляете себе, насколько уже сто лет назад это был отработанный школьный учебник. Вообще большинство учебников старой гимназии отшлифовывались от издания к изданию – „История“ Иловайского, „Геометрия, математика“ Киселева, „Физика“ Цингера. Основа сохранялась, родители и дети учились по одному и тому же учебнику, поэтому старшие понимали, участвовали в обучении. Существовала преемственность. Дети учили те же стихи, что когда-то учили родители. Я еще вернусь к катехизису, а сейчас мне хочется кое-что дополнить к Вашим положениям. Некоторые соображения, которые, кажется мне, даются людям не менее трудно, чем Ваши.

1. Другие люди могут быть другими. Понять и принять такое очевидное положение сегодня, оказывается, так же сложно, как и во времена религиозных войн. Это неприятие других продолжает существовать и на уровне религии (Ирландия с ее средневековыми столкновениями протестантов – католиков), и на расовом уровне, у нас в национальных распрях: армяне – грузины, русские – евреи, в среднеазиатских наших конфликтах. А сколько внутри любого коллектива нетерпимости к инакообразным – инакодумающим, инаколюбящим, инакопонимающим, живущим. Само понятие „инакомыслящий“ должно бы считаться похвалой, признаком ценности человека, оно обрело осудительный характер. Признать право другого быть другим требует уважения к личности другого. А это, в свою очередь, требует развитого

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
самоуважения. Между прочим, самоуважение требует критического отношения к себе, смирения и интереса к своей душе, ее движениям и потребностям.

2. Этические проблемы легко приводят к Богу. Слишком легко. Требования добра, доброты, прощения, терпения и т. п. Все они проще всего мотивируются на религиозной основе. Когда она есть, этические положения выстраиваются естественно. Если же Бога нет, то все дозволено, – утверждал Достоевский, то есть запреты рушатся, зло, эгоизм нечем остановить. Вроде правильно, страшно, а вот Бога отодвинули на самый край жизни – и что? Оказалось, что запреты остались. Нравственные запреты продолжают чем-то жить, питаться. Вседозволенности не наступило. Конечно, порчи хватает, но я не о ней, а о том – чем все же продолжает держаться человек? Есть в нем генетическая этика? Есть что-то вложенное в душу независимо от личной веры, этическое начало?

3. О чувстве собственного достоинства. Летел я однажды через океан на самолете компании „KLM“. Стюард, представительный мужчина лет сорока пяти, после ужина укладывал нас спать. Вы бы видели, как заботливо он окутывал пледом ноги пассажирам, подкладывая подушечки. Делал он это с достоинством, тем большим, чем более внимательно он ухаживал за каждым. Его достоинство от его стараний только выигрывало. Я запомнил его в силу своей благодарности, которую невозможно было оплатить чаевыми. Он, укутывая нам ноги, был выше нас именно потому, что делал добро нам, а не мы ему.

И делал он это с удовольствием, с удовлетворением. Разумеется, все это школа сервиса, не более, но подлинное в ней – это отсутствие унижительного и для него и для нас.

4. Для меня одно из наиболее сложных этических требований – это умение прощать. Что можно прощать, что надо прощать и чего нельзя. Ведь есть же вещи непрощительные. В этом смысле любовь к ближнему, о которой Вы говорите, как-то должна сочетаться с борьбой. Мало проповедовать, надо, очевидно, бороться за свои идеи и принципы, и борьба эта так или иначе становится борьбой с какими-то людьми, группами.

Падение нравственности, о котором любили говорить во все века, ныне имеет объективные показатели. Нравственность падает быстро, возьмите хотя бы такие показатели, как воровство, взятки, казнокрадство. В этих условиях я не уверен, что так уж потребно разбирать тонкие проблемы этики. Нет ли тут снобизма? Я не утверждаю, я сомневаюсь.

5. Мне казалось, что несколько оздоровить общество могло бы общественное мнение, то, чего у нас нет. У нас не действуют законы осуждения обществом непорядочного поступка, лжи, хамства, предательства. Если нет страха перед Богом, то должен быть страх перед мнением своего общества. То, что всегда было – у аристократов, у ремесленников, у купцов – свой цех, своя гильдия, свое офицерское собрание. У ученых этот механизм также действовал четко, вспомните, например, историю, связанную с отставкой Минзбера в Московском университете. Не подать руки подлецу – чего ж тут плохого, такой акт нужен для человека так же, как акт прощения. И то и другое повышает требовательность к себе. Этика – это процесс повышения требовательности к себе, не прощения себя, работы совести. Л. Толстой был непримирим к дворцовой камарилье, не прощал и не шел на протянутые к нему руки.

Насчет злой литературы (М. Булгаков, М. Щедрин). Я не уверен, что литературу можно оценивать добром: добрая, недобрая... Такие оценки несут в себе идею полезности. Полезно – бесполезно. Примерно тот же вид требований, который предъявляли власти всех времен – цезари, короли, цари и прочие руководители. Наиболее умные из них все равно оценивали – а насколько то или иное произведение служит. Делу воспитания патриотизма, мужества, производственной дисциплины, научному прогрессу и т. п. Добро тоже требует службы.

Борьба со злом (Данте, Свифт). Это что – служба добру? А разве Щедрин не боролся со злом?

Не лишает ли художника Ваше требование добра – свободы? Да и не только художника. Когда Вы с лучшими намерениями возглашаете добро верховным принципом, я понимаю, что нужно иметь какой-то универсальный критерий, понимаю, что добро лучше всего подходит для этого, понимаю и тут же возмущаюсь – а почему Вы меня судите добром, почему не свободой, не любовью, не уважением к человеку? Не желаю

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
я Вашего добра, свободу мне дайте! Согласится ли человек, если накладывать на него единственную мерку добра? Любовь к человеку выражает себя по-разному, не только через добро. А как быть с заповедью, требующей быть алчущими и жаждущими правды?

Вопросов тут множество, раздражают на них формулы и требования. Когда требования к человеку идут от Бога, их принимаешь почти безропотно. Требования же, лишённые Бога, должны, мне кажется, строиться иначе, надо искать для них новую форму.

Пишу я все это с некоторым смущением. Кругом черт знает что делается, живем во лжи, которая никогда еще не достигала такой наглости, вся Россия к вечеру шатается пьяной, несправедливость и глупость тычет нас в морду на каждом углу, честному человеку жить все труднее, воруют практически все... Где ни соберутся, только и разговору о мерзостях нашей жизни. И в это время заниматься тонкостями этики – неловко. Гурманство. Среди голодухи. Дача горит, детей выносить надо, а тут приходит милая девица – не купите ли малины?

И между нами – умная статья Ю. А. об идеальном герое – то же впечатление произвела.

Порассуждать, конечно, охота, я сам, как видите, соблазнился. И отдаю должное и радуюсь работе Вашей мысли и совести, но признаться в своих сомнениях – должен.

Очень хотелось бы пообщаться устно, так что с нетерпением жду Вашего приезда в Ленинград.

Привет Вашей супруге.

Ваш Даниил Гранин

Август 84 г., Комарово».

КУРЧАТОВ

Роман «Искатели» сперва обругали, затем похвалили, а затем стали переиздавать, раскупать. Автора наперебой приглашали в библиотеки, на встречи, на читательские конференции. Будучи в Москве, он получил приглашение в какой-то закрытый физический институт, почтовый ящик, безымянное учреждение, тогда, в пятидесятых, они начали энергично размножаться, «ящики», «ящики», пропуска, охрана, вопросов не задавать, ничего не показывают, ни лабораторий, ни продукции, и все там разговаривают напряженно, общаться с ними муки мученические, все равно что с высоковольтным аппаратом.

Автор отказался, однако тут вмешался его давний приятель Миша Певзнер. После войны Певзнер, молодой питерский физик, оказался в Москве, занимался чем-то таким, о чем не следовало говорить и шепотом. Получил шикарную квартиру. Автор бывал у него в Москве. Однажды, когда они подвыпили, Певзнер довольно смело по тем временам приоткрыл автору, чем они там занимаются – бомбой (атомной). Миша был человек независимый, у атомщиков уже появился синдром превосходства над остальным затюканным населением страны и была некоторая вседозволенность. Конечно, то, что он приоткрыл, было, в сущности, уже известно по слухам, которые ходили среди московских ученых.

Он-то и уговорил автора выступить у них в «ящике». Приглашение было наверняка его рук дело, но и кого-то еще другого.

Читательская конференция проходила как обычно. То был клуб, а может, и не клуб, а зал заседаний. Пришло множество народу, долго не начинали, кого-то ждали. Потом автора вызвали из компании молодых задиристых физиков и представили какому-то начальнику. Внушительный, приветливый, с большой бородой, признаться, я не обратил на него особого внимания, некогда и ни к чему, наверно, еще перед физиками negliжировал, как выражались по-старинному, показывая, что все это начальство мне до фени. Начальник сел в первом ряду, и действие началось. Автор произнес свое, потом произносили свое читатели, кто за, кто против, в заключение автор тех, кто против, вразумлял, учил их законам этики и восприятия своего романа. Отвечал на вопросы. В конце, как водится, выдали букет цветов от дирекции и благодарность, это сделал тот самый мужик, который был начальник, еще он пригласил на чашку чая. Автор отказался. На этих чашках сидишь как бы в роли

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
оракула и должен что-то вещать, и что-то обязательно остроумное, а остальные тоже хотят себя выразить, а за столом не то что на сцене, без микрофона, они начинают спорить, не соглашаться, и автор чувствует, как позолота с него осыпается, а эти зубастые физики могут и вообще загнать в угол. В библиотеках, там публика попроще, более робкая, любители чтения, с ними интересно про книги, они могут что-то рассказать про себя. Здесь же сидят засекреченные, да еще совершенно засекреченные, от них не дождешься, чтобы «про себя» или «из жизни», они любители отвлеченных рассуждений. И так, автор отказался и уехал, а уж много позже ему Миша сказал, что то был Курчатов, и Курчатов весьма сожалел, что не удалось посидеть вместе. Тогда и автор тоже пожалел, но пожалел как-то вскользь, слишком он был преисполнен своим успехом. Прошло еще несколько лет, и уже не стало Курчатова, не стало и Миши Певзнера, не стало и других его друзей-атомщиков, эта работа быстро прибирала своих специалистов. И вот тогда автор по-настоящему пожалел о своем легкомыслии.

Конечно, вряд ли бы он понял тогда трагичность жизни Курчатова. Только через полвека стали поступать сведения из-за забора той лаборатории № 2. Давно закончился Берия и его подручные, сменились все правительства, а потом не стало и того государства, на которое все они работали, перестали делать атомные бомбы, никого не осталось из ее зачинателей, конечно, осталась система режимов, допусков, она все так же охраняет прежние, уже ненужные секреты, забор тот сгнил, в дыры лезет всякая шпана, а те, кто остался из работников, уехали за границу и там подороже продают сокровенные некогда секреты.

Интересный эпизод про Курчатова: Миша Певзнер приносит ему полученный график. Курчатов недоволен: вот здесь должен быть пик. Через день опять отвергает. Миша говорит, что не выходит иначе. Тогда Курчатов достает из сейфа график – почему у них получается, а у вас нет? «У них...» – Миша понял – у американцев. Значит, были у нас данные... Еще он понял, что Курчатов был связан принудой. Надо было копировать, мешали создавать.

Несостоявшийся чай с Курчатовым – одна из многих потерь в жизни автора. Вообще, оглядываясь на свою жизнь, он ее представляет как серию упущенных возможностей. Позже он себя оправдывал тем, что был слишком упоен своими успехами. Думаю, объяснение это недостаточное, если бы ему тогда рассказали, кто такой Курчатов, что уже тогда он значил для атомной физики, автор наверняка остался бы с ним на вечер, к сожалению, его надо было ткнуть носом, показать, рассказать, кто да что, сам он не умел рыться в людях, хотя судьба ему преподносила одного за другим замечательные, исторические личности, а он скользил мимо легко, бездумно, почти не задерживаясь, и нетерпеливо мчался куда-то. Куда? Спустя годы, проскочив, он спохватывался, но было уже поздно. Интересен список таких потерь, хотя бы примерный. Это и Флеров, это и Абрам Федорович Иоффе, отец русской физики, у которого автор неоднократно бывал в гостях, был приглашаем еще и еще, но ему показалось достаточным, и так он не удосужился найти время порасспросить и послушать. Ему казалось, что Абрам Федорович все написал в своих воспоминаниях, на самом же деле никто никогда полностью не пишет в своих воспоминаниях то, что составляет самое сокровенное в жизни.

Или взять Елизавету Полонскую, которая входила в группу «Серапионовы братья», была другом Зоценко, хорошо знала обэриутов. Или Борис Эйхенбаум, интереснейший ученый, знаток Толстого, Лермонтова (между прочим, брат его был у Махно, считался там идеологом). Или Евгений Шварц. Все сводилось к случайным светским разговорам. С Борисом Эйхенбаумом и Евгением Шварцем два года автор жил в одном доме, обменивались незначительными фразами, а времени пообщаться так и не нашлось. Два лета в Коктебеле в Доме творчества автор провел с Василием Алексеевичем Десницким, человеком, близким к Горькому, Ленину, Плеханову, а через Плеханова к некоторым народовольцам. В Коктебеле Десницкий с утра отправлялся на берег моря собирать знаменитые коктебельские камушки, море выкидывало на пляж свои изделия – цветные, отполированные, украшенные причудливыми рисунками «куриные боги» – плоские каменные овалы с аккуратной дырочкой посередине. Иногда автор присоединялся к Десницкому в этих поисках. С годами у Десницкого образовалась большая коллекция коктебельских драгоценностей, говорили больше об этих странных произведениях природы, автор восхищался коллекцией Десницкого, аккуратно разложенные на ватках в специальных коробочках камушки привлекали автора куда больше, чем рассказы Десницкого. Иногда, правда, в своих разговорах они доходили до прежних обитателей Коктебеля – Волошина, Цветаевой, Мандельштама, до Брюсова, Гумилева, Шагинян, Булгакова, и в сторону от Коктебеля, допустим, на Капри к Ленину, к Горькому, Богданову, к историку академику Тарле, к Луначарскому, к

Бухарину.

Десницкий отмалчивался, отвечал больше смешком, смешком отбивался от всех попыток автора, а попытки эти были слабыми, короткими и излишне самолюбивыми. Но видно было и тогда, что обо всех них он знал не то, что знал автор и его поколение, касалось это и самого Волошина, и его друзей-писателей. Правда, из обрывочных замечаний Десницкого что-то начинало шататься, образы этих людей становились не такими стойко-казенными, на памятниках появлялись трещины. «Бухарин, а вы перечитайте его выступление на Первом съезде писателей», – от Десницкого словно происходило колебание почвы, доносились отзвуки землетрясений. И автор отступался. Что это было, душевная леность, не хотелось пробиваться к замурованному у Десницкого прошлому? А замуровано оно было прочно, как в склепе, все-таки он, конечно, как теперь можно понять, приоткрылся бы, но настоящего любопытства к нему ни у кого не было. По-видимому, так и ушел из жизни, не приоткрыв этого склепа. Расспросы автора кончались тем, что Десницкий говорил: «Посмотрите лучше на этот сердолик – какая прелесть!»

Это только Десницкий, только один из примеров тех людей, с которыми так и разминулся автор.

ЧЕХОВ

Неоспоримая ценность жизни для Чехова – труд. Поэтому Чехов не мог осуждать Ионыча, который все так же честно и успешно трудился врачом. Но даже такой высокий труд не давал высокой идеи жизни, и Ионыч потерял ее краски, радости. Драма отсутствия общей идеи жизни. Чехов не скрывает своего незнания этой идеи. «Не знаю», – признается он, он отказывается от поверхностных ответов. Не знает, и герои его не знают.

Пишет Чехов с той божественной максимальной простотой, где уже нет красоты языка, сравнений, метафор, народных перлов, это чистое стекло, ничто не стоит между читателем и жизнью, авторская стилистика, лексика исчезли. Набоков – это талантливый витраж, Бунин, Паустовский, Шолохов – всюду блистает автор, Чехова – нет, он устраняется, оставив хрустальную чистоту своего умения изобразить жизнь без вмешательства.

УХОД

В сентябре 1980 года, перед тем как лечь в больницу, Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский собрал у себя и старых и молодых, чтобы подвести черту. Все это понимали. Выглядело как у древних римлян – мужественное спокойное прощание. Никто напрямую не говорил о смерти, вечной разлуке и тому подобных сантиментах. Каждый высказал Николаю Владимировичу свое благодарное, недоговоренное. Было шутливо и серьезно. Сам Николай Владимирович держался стойко и вдумчиво. Сказал, что жизнь его была счастливой благодаря хорошим людям, окружавшим его и Ляльку. Он был в этот день красив и величав. Смерть Елены Александровны (в 1974 году) сломила эту натуру, наполненную огромной жизненной энергией.

Со времен лагерной жизни он часто возвращался к мысли о непостыдной смерти. И здесь он был велик, и в смерть входил по-своему.

* * *

У Виктора дома стоит ширма, отделяя кухню от столовой. Как я обрадовался, увидев ее, сделанную под китайскую, такие были в 30-х годах XX века, они из разряда старых вещей, утраченных, изжитых, так же как венские стулья, люблю пополнять этот список – лото, чернильница, сохраненные фантики от конфет, одеколон «Шипр». Они, эти вещи, протирают тусклую оптику воспоминаний, сразу появляются комнаты с ширмами, голоса и женский смех за ними, кто-то там переодевается. А запонки, как это бывает красиво – накрахмаленная манжета и золотистая, прочерченная синей эмалевой чертой запонка. Что-то похожее увидел я в детстве в гостях. Нож слоновой кости для разрезания страниц.

Пройдоха, проныра, прохиндей, прохвост...

Наконец он купил квартиру, четырехкомнатную, как мечтали, с балконом. Наконец обменял свой старенький «Фиат» на приличный «BMW», наконец покрасили дачу, наконец съездили в Италию. Все складывалось удачно, почему же внутри что-то томило, что? Все было, а удовлетворения не было, появилось желание куда-то уйти

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
от всего этого, остаться без всего этого, наедине с собой. Хотелось безмолвия. Сиди на веранде, наслаждайся. И что еще? Он подумал: чего теперь будет добиваться? Неужели из этого состоит жизнь? Надо чем-то другим ее наполнить. А чем?

Ночью ему приснилось, как он украл хлеб в блокаду. На самом деле это было: он украл горбушку грамм 200 и кусок сахара, а приснилось – буханку, за ним погнались, он бежал, упал и проснулся. Рядом спала жена, было страшно – а вдруг она узнала. Украл он в школе, когда их собрали перед эвакуацией.

Он забыл, хотел забыть и забыл, и вот спустя тридцать лет приснилось.

После этого что-то с ним стало твориться. Жена не понимает, почему он дал племянникам деньги на квартиру. Раньше он их сторонился. Брат его умер. Считалось, от последствий дистрофии. Если б он поделился с братом, нет, все сам съел.

Внутри он старел куда медленнее. Там еще порой появлялся подросток, а то ребенок или что-то похожее на лейтенанта, перетянутого ремнями. Он не видел своих морщин, забывал про седину и плешь на макушке. Внутри он бывал молодой, добрый, нежный.

Душа есть большая, есть слабая, сильная, она вполне вещественна, имеет субстанцию. Так же, как совесть. Это не придуманные понятия. В школе надо учить тому, что они существуют. Так же, как любовь, стыд.

Петербург все равно был бы построен рано или поздно. Но если бы не в 1703-м, а на полвека позже, он просто назывался бы уже Екатеринбург.

Переговоры с совестью идут всегда трудно, ее, конечно, можно уговорить, но она не то чтобы соглашается, она просто утихнет, и вдруг однажды, в самый неподходящий момент, опять начинает вспоминать одно и то же.

С ней вступают в сделки: «ладно, обидел, потом исправлю», «возмещу несправедливость когда-нибудь», «если получу должность, возмещу».

Если совести нет, значит, все дозволено. Из Достоевского: «Если Бога нет, значит, все дозволено». Совесть, она как бы малое представительство Бога.

Интересно, как называют нашу Землю на других планетах?

Рассказывает подруге о свидании с человеком, которого она любит. Они выпили, и он стал домогаться ее. «Я бы дала ему, так белье помешало, рубашка у меня была грязная и трико дырявое, раздеваться стыдно».

Жизнь в России – всегда чудо. Плохое чудо или хорошее, но обязательно чудо. Предсказать, что здесь случится пусть даже в следующем году, – абсолютно невозможно.

Русский стол – смертельно обилен, эти пироги, эти салаты, винегреты, эти рыба и мясо. И так во всем: мы ни в чем не знаем меры. В древнегреческих храмах была надпись: во всем должна быть мера. Искусство и культура – это всегда соблюдение меры.

Мы сейчас все хотим, чтобы у каждого была отдельная квартира. А что дальше, не важно для российского человека.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Качество жизни измеряется количеством счастья. Или покоя. В Швеции и в Швейцарии люди не лезут на Марс. И живут там, живут благополучно. Правда, много самоубийств.

Я больше не боюсь космосом. Зачем мне нужен Марс, когда я иду выносить мусор и вижу бомжей, которые роются в контейнерах?

Все, что я читаю сегодня, – это и есть современная литература. Я же это сегодня читаю. Например, Сэлинджер, которого я недавно перечел, – это современная литература.

Мое правило: сегодняшний день – мой самый счастливый день в жизни. Потому что большую часть жизни мы живем или вспоминая хорошее, или надеясь на хорошее.

Как бы ни был счастлив человек, оглядываясь назад, он вздыхает.

Вода в реках сменяется 32 раза в год.

В озерах через 10 лет.

Подземные воды, тем надо 5000 лет.

Интересно, есть ли подобные сроки для лесов?

Пресной воды на Земле совсем немного – 3 %.

У В. Я. Александрова на биологическом семинаре висел плакат: «И что из этого следует?».

– Сила воли в том, чтобы отказаться от того, что хочется делать, и делать то, что должно.

– А я думаю, что сила воли в том, чтобы всю жизнь делать то, что желаешь. И добиваться этого.

В институте я остановился перед портретом: «Академик Воеводский».

– Это наш корифей, – с гордостью сказала секретарша.

– Я знал его... Мы в школе вместе учились.

– Да что вы говорите! Какой он был?

Я пожал плечами:

– Мы звали его «селедкой»... Владька-селедка.

– Как так можно!

– Били его. Он трусил, – самодовольно сказал я.

Она возмущенно отвернулась.

Наша судьба похожа на кусок хлеба, на один кладут сыр, на другой – колбасу, есть такой, что присыпят солью, а есть такой, что ему достанется икра.

Молитва – это еще не религия.

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Научная работа выносит вперед, в будущее, – там будет результат, пока что неизвестность, которую надо рассеять, понять. Так что это работа над предстоящим.

Молитва как любовь, на нее не ждут ответа.

Творить надо настоящее, оно требует борьбы, труда, будущее, оно послушно нашим желаниям, мечтам.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«В том мире, где проходит мое существование, от хомута до стойла, важно строить свои принципы по принципу „чего изволите“; при этом можно почти не работать и быть вполне благополучным».

К. из Чернигова

«Руководящая элита не жертвует личным ради общего дела, она поступает как раз наоборот. Где же пример? Где брать образец? Кто делом убедил нас за эти годы: „вот как надо жить для людей“. Выходит, никто».

Самые счастливые письма те, что рассказывают о результатах:

«Я прихожу в школу к детям с нарисованным мною портретом Сент-Экзюпери, где он улыбается своей детской улыбкой маленького принца». И дальше она рассказывает, как вовлекла ребят с помощью Экзюпери и еще, рассказав про мое выступление по радио, стала с ними убирать мусор в лесу:

«С гордостью докладываю Вам, что собрали и утилизировали мы 4 мешка нечисти. На душе стало легко и светло».

Сысой Надежда

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевидение изготавливает все больше знаменитостей. Большая часть знаменита лишь тем, что они часто попадают на экран. Дают бесчисленные интервью. Артист, который рекламировал лекарства, когда появляется на сцене, его узнают: «А-а! Это тот, кто рекламировал имодиум от поноса».

ПЕРЕД УХОДОМ

«Кончается, кончается! Кончается! – Женщина бежала по коридору, хватала докторов, тащила, рыдала: – Кончается! Остановите же, остановите! Сколько народу здесь, сколько халатов, врачи, профессора, помогите, он ведь кончается, он уходит, помогите ему, зачем же вы здесь все!»

Он тоже чувствовал, что умирает. И знал, что врачи тоже узнали об этом. Он слышал, как студент-практикант спросил девушку: «Где этот ученый, он, кажется, умирает?» Девушка что-то зашипела. Потом в палате появился этот студент с тетрадкой, синей ручкой и книжкой, сел на стул возле него, смотрел и что-то записывал, листал, поглядывал то на него, то в учебник.

Дверь в коридор была открыта. Проходили студентки. В белых шапочках, румяные от мороза, красивые, они смеялись «Лелька не позволит ему. – Да позволит, позволит». Студент быстро-быстро писал, девушки смеялись, все разные, все красивые, яркие. Никогда он не видел столько красивых девушек, в его время красивая девушка была редкость. Он часто думал о том, как будет умирать. Попытался представить себе эту минуту, становилось страшно, мысль была невыносима. А теперь вот он умирал и думал о пустяках. Светло-голубая стена с ржавым подтеком, белый потолок, матовый колпак, какая скучная палата, ничего не отвлекает, не за что зацепиться, гладкая стена. Подождать бы еще один день, может, он что-нибудь придумает. У него было много дней, ему дано было много-много дней. Если вспомнить, то из них наберется всего несколько действительно настоящих, насыщенных до отказа, без глупой суеты, пустых разговоров, дни, когда он делал что хотел, никто не мешал. Он вспомнил из Библии: «...умер, насыщенный днями». Он не был насыщен. Главное, чтобы никто не мешал, все друг другу мешают, их много,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
которые только этим и занимаются, чтобы мешать. «Насыщенный днями» – кажется, из «Книги Иова». Он никогда не понимал, чем Господь мог успокоить Иова.

Студент закрыл книгу, закрыл тетрадь, наклонился к нему, сказал: «Извините, я этого не знаю».

«Проявил полную беспринципность, отказываясь признать ложность своих взглядов».

Из газет времен лысенковщины

«Любопытство – порок женщин, а любознательность – доблесть мужчин».

Тимофеев-Ресовский

Пришла в фешемобельный магазин купить гостиную – грильяж.

ЛЕТО

Лето стоит отличное, оно именно стоит, жаркое, с ливнями, грозами, стоит солнце, стоят дни, высокие, голубые, стоит мошкара, запах земли, пыльных дорог, стоит теплая вода Щучьего озера. А ель, я вдруг увидел это, просто палка, на которой нанизаны усы разных размеров – от самых маленьких, до большущих, и все усы браво закручены вверх.

Хлеб из земли бери, а не изо рта другого.

Чиновник мне пояснил со вздохом: «Если узнают, что я не беру взятки, меня уволят».

Если бы каждый человек знал, на каком инструменте у него есть способности играть, получился бы великолепный оркестр.

Спустя полвека с лишним воспоминания о XX съезде у всех обрели сходство, различия стерлись: «огромное событие», «потрясло наше мышление». Университетский зал слушал спокойно, студенты всю свою жизнь знали, что Сталин расправлялся жестоко с оппозицией, знали про 37-й год, репрессии. Что нового мы могли им сказать? Да и мне самому тот 1956 год вспоминался общей памятью, личное стерлось. Но вот случайно я нашел запись в тетради: «февраль 1956 год». Никаких дневников я не вел, а тут вдруг подробно записал, значит, пробрало до печенок:

«Ждали съезд с небывальными надеждами и впервые надежды сбылись. Общее ощущение светлого подъема. Каждая речь читалась внимательно».

Ничего не буду подправлять, это уже не нынешнее, не мое, совсем чужое, исторический документ.

«Наибольшее впечатление произвела речь А. Микояна. От нее радость чистосердечности и доверительной смелости: „величайшее событие за двадцать лет“ (это про съезд), „через 20 лет мы вернулись к Ленину“, „Сталин ошибался во многих теоретических работах“, „Необходимо пересмотреть всю историю, ее искажали во имя культа личности“, „принижали Ленина, его роль, его дела“.

Главная теоретическая мысль съезда – мы должны, мы имеем все возможности вернуться к Ленину, восстановить его идеалы партийной жизни, его чистоту.

Это так прекрасно, такая в этом радость. Открыто бывшее под запретом, оболганное, изуродованное понятие коммуниста!»

Ох, как не хочется, страшно порвать все сразу, остаться сиротой, слава богу, Ленин уцелел, за него и держаться будем.

«Оказывается, все это время народ хранил в душе чудесную преданность Ленину, мы

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru были близки с ним, и вот он воскрес... И все прошлое сразу потемнело, сморщилось».

Не можем мы без культа, одного скинули, тут же другого поставили.

Вероятно, мы где-то перегибаем, но это так естественно.

Вот и все опасения, какие были, нет страхов и сомнений, уверены, что все без возврата изменилось.

«Кому-то не нравятся эти радости. Кторов говорит мне: неужели за двадцать с лишним лет не было ничего хорошего? Нельзя так просто выкинуть все, чем мы жили. Ведь мы же сами требовали судить врагов партии, а теперь мы, значит, зря их казнили».

Март месяц как бы завершил постыдное двадцатилетие. На протяжении моей жизни не было события, чтобы так перевернуло взгляды. Даже война кажется теперь менее значительной по силе переворота сознания.

«Вчера был на докладе академика Панкратовой в связи с XX съездом. На нее обрушился первый удар возмущения. Люди ищут живых виновников событий. У каждого, естественно, руки запачканы, ибо эти руки голосовали, подписывали, аплодировали, поэтому никакого снисхождения! Хочется найти виноватых, и побольше. Вина разная, „мы рядовые, что мы могли“. Безжалостно обрушились на старушку – вы же академик, вы же историк! Хотя понимали мужество ее выступления в такое накаленное время. Народ не имеет возможности анализировать, мы к этому не привыкли, нам подавайте ясно, просто, окончательные ответы: кто виноват? Как могло такое случиться? Нужных формул нет. В вопросе о коллективизации Панкратова сказала: раскулачивание было необходимо, были перегибы в отношении середняка. Получилось, что Сталин был прав. Или: „ЦК объединился вокруг Сталина не как личности, а это была поддержка той правильной линии, которую он вел“. Вот и разбери. На ходу Панкратова отыскивала ловкие доводы, выгораживая членов ЦК. Вопросы множилось – кем считать Сталина? А как теперь относиться к Троцкому, Зиновьеву?

Верить ее ответам боязно, не хочется снова оказаться дураком. Участковый механик Анисимов сказал мне: „Помяни мое слово, все перевернется и станет как было, не могут они без этого“».

Дальше вместо того, чтобы рассказывать про то, что происходило в городе с ошарашенными людьми, я принялся писать о том, как создавался культ Сталина. Тогда все мастерили свои теории. Вот и я тоже. Столько лет молчали, теперь надо несколько лет, чтобы выговориться.

– Так ведь молчали на разные темы, а когда разрешили говорить, говорят об одном.

На почте снимают портреты Сталина.

– Мозг народа парализован.

– За десятилетия вся система воспитания была построена на том, что Сталин за нас думает и принимает решения всегда безошибочные, гениальные.

После читки доклада Хрущева швыряют чернильницами в портрет Сталина.

На заводе «Красная заря» вынесли решение: «вытащить его из Мавзолея, какую свинью Ленину подложили».

Кинорежиссера Эрмлера на «Ленфильме» поносят за фильм «Великий гражданин».

Многие философы, историки, авторы книг по истории СССР, России в отчаянии: книги их изымают из библиотек, выбрасывают.

Всплыли старые анекдоты из тех, что рассказывали шепотом: «На собрании механизаторов спросили секретаря обкома Замчевского: почему не нашлось среди наших руководителей Брута? Женщина одна встала и с места: „Наши мужья, сыны гибли за Родину, почему никто из руководителей не решился пожертвовать собою, убив Сталина?“

Замчевский ответил: „Допустим, кто-то выступил бы против Сталина, его постигла бы участь Постышева, Косиора, и тогда кто остался бы – Берия? Вы этого хотели?“

Зал загудел, но женщина эта не сробела: „Не про выступление я спрашиваю, а про покушение, почему не пристрелили его?“».

Говорят, что на съезде Хрущеву прислали записку: «Почему, зная про все, – молчали?» Он прочел вслух и спросил: «Кто писал?» Съезд молчит, никто не отозвался. «Вот, товарищи, понятно вам – почему?»

На это мне тот же инженер Анисимов с МТС ответил: «Зря Хрущев равнял себя с рядовым делегатом, с членов Политбюро другой спрос!»

У многих досада и недоверие. А начальство повторяет на всех собраниях: зачем ковыряться в прошлом, надо идти вперед!

Кое-кто заявляет: «Я всегда считал Сталина подлецом». Это возмущает, никогда мы не слышали от него подобного. Неприятно рядом обнаружить умников, когда сам оказался дураком. Мудрецы задним числом, они хотят успокоить свою совесть.

В таких делах не может быть общей вины, вина, как и совесть, бывает только личная. Общее – это вечная мерзлота, что сковала наши мозги, теперь она начала оттаивать.

Профессор-литературовед, занимался много лет Тургеневым, показал мне свою новую книгу о языке Тургенева, и там место, где он расхваливает язык Сталина. Никто не заставлял его вставлять этот пассаж, зачем, спрашивается, на старости лет было это лакейство? Стыдно. С Тургеневым сравнивал, бог ты мой!

Жена никак не могла его успокоить: «Он места себе не находит, извелся».

Появилось письмо Федора Раскольникова Сталину, напечатанное на папиросной бумаге. Какой-то восьмой экземпляр. Пришлось подкладывать белый лист, чтобы прочитать.

Я читал – ужасался и восторгался одновременно. Захватывало дух оттого, что открывалось, это было сильнее того, что вслух произносил Рой Медведев, потому что хоть и на машинке, но было напечатано, выглядело «печатным словом», как бы официально.

«Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей».

Раскольников написал свое письмо в 1938 году. Оно быстро дошло до Сталина, до читателей, до меня оно дошло только спустя 17 лет. Позже мне дали стенограмму обсуждения новой истории партии. В ЦК собрались старые большевики.

Они рассказывали, как Сталин на самом деле выступал против Ленина в 1917 году. Про то, как искажал речи Ленина в книге «Письма издалика», его статьи. В 1917 году Сталин с Каменевым боролись против Ленина. Говорили, какая лживая книга «Краткий курс». Как Сталин позже переделывал свои статьи и речи, удалял из них свою работу с Каменевым, с Троцким. Он типичный фальсификатор истории партии.

После XX съезда словно развеялись колдовские чары. Действительность стала обретать свои истинные черты. Как я мог не видеть того, что нами правил вовсе не мудрейший в истории человек, что мы ничего сверхъестественного не сумели выстроить – ни социализма, ни благополучия, нищая деревня, бездорожье, коммуналки, что пограничники нужны не против шпионов, они нужны, чтобы не убегали за границу, что нет у нас ни свободы печати, ни свободы слова, что люди тайком крестят в церкви детей, что мы не можем выезжать из страны, что повсюду царит доносительство, колхозники форменные крепостные...

Как я ничего этого не видел, не понимал. Прожил двадцать с лишним лет оболваненным, дурнем, соучастником системы лжи, самообмана. Я терял к себе уважение. Наверное, нечто похожее происходило и с моими друзьями, но от этого

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
было не легче, да и мне было не до них.

Страна очнулась, откинула амбиции, это было спасительное разочарование. На время.

СЕНТЯБРЬ. БОЛГАРИЯ

А что, если удастся доказать, что возможности разума ограничены? Что есть направления, в которых он двигаться не может, есть пределы, есть табу, есть области, которые наш мозг – его устройство познать не в состоянии? Как не может человек поднять сам себя за волосы, как не может мысль следить за тем, как она рождается.

Еще Паскаль заметил, что никакое насилие не может подчинить себе истину: «Истина всемогуща, как сам Бог».

Однажды Михаил Дудин передал мне письмо Г. Куприянова, бывшего первого секретаря ЦК Карелии. Было это в 1960-е годы. Куприянов вернулся из лагеря, где он сидел по «ленинградскому делу».

После освобождения его послали работать директором ломбарда. Его полностью реабилитировали, ЦК восстановило его в партии. Дали квартиру в Пушкине.

То, что он рассказывал, было ужасно. Он писал воспоминания, но в те годы опубликовать их было невозможно. Тем более что он не соглашался ни на какие купюры, не шел ни на какие компромиссы. Он был ожесточен до предела. Звание секретаря ЦК республики он нес, как княжеский сан, нечто неотъемлемое, вельможное. Он пишет возмущенно, что ему дали квартиру «из 3-х маленьких комнат вместо 5 больших, что я имел до ареста. И то, как мне сказали, в виде исключения». Ощущение избранности выглядело уже пережитком, но ярость его внушала симпатию.

Шесть лет он провел в камерах каторжных и пересыльных тюрем, в карцерах, в кабинетах следователей. Из этих шести лет четыре года просидел в одиночке как персона нон грата. Навидался и натерпелся всякого. В особорежимном лагере он работал в каменном карьере. Видя, что творится с заключенными, он послал письмо Г. Маленкову об избиениях, пытках. Вскоре его заковали в кандалы, отправили в Москву и как опасного преступника приговорили к Владимирской тюрьме на 25 лет. Это был ответ Маленкова.

Молотов, Маленков и Каганович в 1937 году голосовали за расстрел Якира, Тухачевского и других, а в 1954 году – за их реабилитацию посмертно. У Куприянова накопилось много улик. После ликвидации «ленинградского дела» его продолжали держать в тюрьме еще полгода. Это был рослый симпатичный человек. Начитанный. Но сколько еще сохранялось в нем партийных амбиций. Ни тюрьма, ни пытки не поколебали его коммунистической веры, вся протестность сосредоточилась на ненависти к Маленкову и Сталину. Не произошло в нем осмысления той жизни, которой он руководил, ему не пришло в голову, что сам он был частью, и немалой, этого страшного режима.

* * *

Знакомый мастер-радиотехник пришел ко мне посоветоваться. Он узнал, что жена изменяла ему. Всякий раз, как выяснилось из письма ее подруги, письмо она обронила, никакого удовольствия от этого жена не получала, изменяла потому, что подруги хвастались... Короче говоря, что делать? – спрашивал мастер.

– Вы же любите безвыходные ситуации, я читал у вас, – поддел меня радиотехник.

НА 8 МАРТА

Он встал, оглядел стол, уставленный мисками с неизбежным салатом оливье, бутылками водки, кувшинами морса, ну, конечно, колбаса, селедка «под шубой», свекла и тарелки горячей картошки. Все это было в прошлом году и запрошлом, все тот же набор, те же лица, незаметно постарелые. Ему захотелось сказать им что-то другое, то, чего им не говорили, без банальных похвал их красоте, доброте, всегда чересчур.

– Выпьем во славу Господа Бога, который вовремя спохватился и понял, что жить

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
без женщин мы не можем! Если бы для этого Он взял у нас не одно, не два, а даже три ребра, мы бы не жаловались, тем более что второе Его создание было более совершенное, Он наделил Еву более чуткой душой, тонкими инстинктами, отзывчивым сердцем, правда, излишней любознательностью, но все равно слава Господу.

Каким образом Господь узнал, что был нарушен его запрет? Яблоки ведь не были сосчитаны, глупо подозревать рай в такой мелочности. Из Библии можно понять, что уликой был стыд. Люди устыдились. Стыдные места прикрыли фиговыми листками. Стыда было больше у Адама. Он должен был остановить Еву, она из его ребра вышла, так что с него главный спрос.

А всерьез то, что Ева не из глины создана, а из человеческого нутра, объясняет человечность женщины, ее неоценимое превосходство!

«Наша партия, руководимая Никитой Сергеевичем Хрущевым, искоренит вредные последствия культа личности». (Смех в зале.)

«Все видимое имеет срок, все невидимое бессрочно» (надпись в гостинице).

На выездной комиссии в райкоме поэту Сергею Давыдову сказали:

– Чего вас все заграница тянет, поездили бы по своей стране.

Сереза сослался на Маяковского.

– Маяковский? Он с собой покончил, это не украшает советского поэта, это вам не дуэль с чуждыми людьми, на которую шли наши классики.

Читая Шекспира, я убедился, что он ставил такие вопросы, на которые до сих пор нет точного ответа. К примеру, вопрос Гамлета «Быть или не быть?» и другие. Есть ли смысл ставить новые вопросы, пока на те не даны ответы?

Белая изразцовая печь во весь угол была лучшим украшением нашей комнаты. Гладкая, с медной дверцей (мать ее начищала), там за ней гудело пламя. Печь никогда не была горячей, она всегда приятно теплая, всегда чистая. И холодной не была, какая-то теплынь в ней сохранялась. Когда поставили батареи отопления, вот тогда она похолодела. От обиды, что ли?

Стоял еще огромный дубовый буфетище, непонятно было, как его втащили в комнату, он не мог пролезть ни в какие двери.

В передней стоял чей-то ломберный стол, покрытый зеленым сукном. Судьбы его не знаю, а вот другой стол, овальный, из карельской березы, с львиными лапами на подставках, с инкрустацией из черного дерева, этот стол, роскошный, музейный, я с друзьями вынес на помойку. Зачем – объяснить теперь уже не могу. Видел, что красиво, а почему-то хотел избавиться как от чего-то устарелого, пошлого.

Достался он нам от прежних хозяев квартиры. Не достался, а остался. Кто они были – не знаю, не спрашивал родителей. Многого не спрашивал, жил без любопытства к прошлому, к родительской жизни. Иногда они что-то хотели рассказать, но наталкивались на мое безразличие и умолкали. Примерно то же самое я получаю ныне от внука.

Еще висела огромная картина – море, юг, какая-то парочка на набережной стоит в правом углу. Картина так себе, а вот черная дубовая рама роскошна.

Да, поздно мы научились ценить старинное. Это была идеология, борьба с мещанством, с прежним бытом, мы приветствовали фанерную дрянную мебель, дешевку, ныне она кажется безобразной, слава богу, мало что от нее уцелело.

Тяжелые, блестящие льняные скатерти, полотенца, картонки для шляп, супницы, часы с боем – сколько было всякого, что ныне стало антиквариатом.

Все добротное, мило, красиво, но ведь были еще и клопы с их отвратным запахом, были мухи, пауки, мыши, были стирки с тяжелой парной сыростью. В углу стоял ларь с картошкой. Мать вычесывала мне голову от вшей, давила их на газете ногтем.

Болваностойкий аппарат.

Дружба врозь, ребенка об пол.

Не от большого ума, но от чистого сердца.

«Просвещение без нравственного идеала несет в себе отраву» (Н. Новиков).

История технического и научного прогресса – это история непредставимого. Вирусы,

Листопад. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
микробы – были непредставимы. Так же, как радио, электрический свет, самолет.
Мог ли человек XVII века представить фотографию? А компьютер, а рентген?
Следовательно, будущее полно непредставимых вещей. Они там существуют. И больше
всего те, о которых мы не догадываемся, не в состоянии догадаться.
Антисоветская литература стала литературой советского периода.
Великую советскую литературу заносит песком читава.

Нормальный человек задыхается в мире политических страстей, ему нужно другое
общение, полное любви, мечтаний, сострадания, поэзии, с теми, кто одинаково
нуждается в этом, чтобы вместе гулять, печь пироги.
Велик ли у нас престиж подвижников искусства, таких как Филонов, который не
продавал своих картин, жил бедно, таких бедняков, как Ван Гог?
Ракеты были нацелены, потом перенацелены, все цели были великие и оправдывали,
как положено, средства. Средства были немалые. Генералы наши тратили их, попутно
строя себе дачи, покупая машины и прочие необходимые предметы роскоши. Все было
засекречено, так что ни у кого не было возможности упрекать наших славных
генералов. Средства все были оправданы.

– Мы ставим идею, которой служим, – сказал мне на это генерал, – выше ваших
поисков истины.

– Ну и ставьте. Справедливости наплевать. Она непотопляема. Она выплывает.

Американцы говорят: «Мы можем сделать гения из кого угодно».
И делают. Изготовленные рекламой, шумно раскрученные гении недолговечны. Престиж
народа, его слава – это его истинный вклад в мировую науку и культуру. В науке
некоторые достижения устаревают, изнашиваются, музыку же Сибелиуса или Грига не
отобрать у скандинавов, так же, как романы Гамсуна, так же, как у американцев
Марк Твен, Эдгар По, Хемингуэй – это прочно.
Можно подумать, что «мерседесы» или «пежо» тоже достижения Германии, Франции,
тоже их вклад в мировую технику. Однако ежегодные автосалоны выдвигают новых
рекордсменов. Количество электроэнергии, чугуна, шелка не вызывает восхищения
страной: «Ах, какой, газ у России!» – это ведь то, что досталось ей от Господа
Бога, а не от творчества. Что такое Россия для Европы, да и для Азии, – это
Чайковский, Лев Толстой, Чехов, Гоголь, Шостакович, Менделеев, Достоевский... То,
что входит в алмазный фонд человечества. Между прочим, совсем не мало.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!